

INSPIRIA

ВИКТОРИЯ ШВАБ



18+

НЕЗРИМАЯ ЖИЗНЬ
АДАМ ЛАРЮ

Все мы — лишь оставленные нами следы

INSPIRIA

Universum. Магический реализм.
Бестселлеры Виктории Шваб

Виктория Шваб

Незримая жизнь Адди Ларю

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

Шваб В.

Незримая жизнь Адди Ларю / В. Шваб — «Эксмо»,
2020 — (Universum. Магический реализм. Бестселлеры Виктории
Шваб)

ISBN 978-5-04-157441-3

Франция, 1714 год. Чтобы избежать брака без любви, юная Аделин заключает сделку с тёмным богом. Тот дарует ей свободу и бессмертие, но подарок его с подвохом: отныне девушка проклята быть всеми забытой. Собственные родители не узнают её. Любой, с кем она познакомится, не вспомнит о ней, стоит Адди пропасть из вида на пару минут. Триста лет спустя, в наши дни, Адди всё ещё жива. Она видела, как сменяются эпохи. Её образ вдохновлял музыкантов и художников, пускай позже те и не могли ответить, что за таинственная незнакомка послужила им музой. Аделин смирилась: таков единственный способ оставить в мире хоть какую-то память о ней. Но однажды в книжном магазине она встречает юношу, который произносит три заветных слова: «Я тебя помню»...

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-157441-3

© Шваб В., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты	6
I	7
II	11
III	13
IV	16
V	19
VI	22
VII	24
VIII	26
IX	30
X	33
XI	37
XII	40
XIII	44
XIV	50
XV	54
XVI	56
XVII	60
Часть вторая. Самый темный час	63
I	64
II	70
III	74
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Виктория Шваб

Незримая жизнь Адди Ларю

Victoria Schwab
The Invisible Life of Addie la Rue

© 2020 by Victoria Schwab

© Е. Николенко, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Патриции – на вечную память.

Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не добры и не милосердны. Они капризны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись: проси осмотрительно и готовься заплатить.

Запомни: какое бы несчастье тебе ни грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода тьмы.

Этель Магритт. 1642–1719

29 июля 1714

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Девушка мчится со всех ног, горячий летний воздух обжигает ей спину. Но за ней не гонится разъяренная толпа, не полыхают вслед факелы. Лишь вдали поблескивают свадебные фонари да светит красноватое солнце, чьи лучи разбиваются о линию горизонта, разливаясь по холмам. Путаясь в высокой траве, она бежит к лесу в попытке обогнать догорающий закат.

По ветру разносятся голоса, выкликая ее имя.

Адели`н? Адели`н? Адели`н!

Ее тень падает вперед – такая длинная, что края размываются. С волос осыпаются мелкие белые цветочки и усеивают землю, ложась на нее созвездием, почти таким же, что красуется на щеках беглянки.

Семь веснушек. По одной на каждую любовь, что она познает, – так сказала Этель, когда девушка была совсем юной.

По одной на каждую жизнь, что она проживет.

По одной на каждого бога, что станет за ней присматривать.

Теперь они над ней насмеются, эти семь отметин. Знаки обещаний и лжи. Ей не довелось влюбиться, никакую жизнь она не прожила, богов не повстречала, да и время уже на исходе.

Но беглянка не останавливается и не оглядывается. Не хочет видеть, какая жизнь ждет ее позади – неподвижная, точно нарисованная. Застывшая, как могильный камень.

Она просто бежит.

Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты



«Revenir» (Вернуться), Арло Мире, 1721–1722 гг.

Ясень, мрамор.

Предоставлена музеем Орсе, Франция.

Скульптурная композиция из пяти мраморных птиц на разных стадиях взлета, установленных на узком деревянном постаменте.

Мире был пристрастным автобиографом и вел дневники, дающие представление об образе его мышления и творческом пути. Идею создания «Revenir» он почерпнул в статуэтке, найденной на улицах Парижа зимой 1715 года. По общему мнению, деревянная птица со сломанным крылом (повреждения устранены) была воссоздана скульптором четвертой в ряду.

Оценочная стоимость 175 000 долларов.

I

10 марта 2014

Нью-Йорк

Девушка просыпается в чьей-то постели. Она лежит совершенно неподвижно, стараясь задержать время, словно дыхание. Будто обладает властью остановить бег часов, не дать юноше, что спит рядом, проснуться, будто хочет сохранить память об их ночи одной лишь силой воли.

Разумеется, этому не бывать. Он забудет, как забывают все. Он не виноват – никто из них не виноват.

Парень еще дремлет. Его плечи медленно поднимаются и опускаются. На затылке вьются кольцами темные волосы; вдоль ребер тянется шрам.

Черты, что давно запали в память.

Его зовут Тоби.

Прошлой ночью она назвала ему свое имя – Джесс. Соврала, но только потому, что не может назвать настоящее. Это одна из мелких жестоких деталей договора – спрятанная, словно крапива среди высокой травы. Потаенные шипы предназначены жалить. Что такое человек, как не оставленные им следы? Она научилась ступать между колючками, но есть раны, которых не избежать: память, фотографии, имя.

В прошлом месяце ее звали Клэр, Зои, Мишель... Но пару ночей назад (когда она была Эльль) они закрывали ночное кафе после одного из его концертов, и Тоби признался, что влюблен в девушку по имени Джесс – просто он ее пока не встретил.

Так что теперь ее зовут Джесс.

Тоби начинает ворочаться, тянется к ней, перекатывается, но и не думает просыпаться. Грудь ее пронзает привычная боль. Его лицо теперь всего в нескольких дюймах, губы приоткрыты, черные локоны упали на глаза, опущенные темными ресницами.

Как-то мрак ехидно заметил – в тот раз они гуляли вдоль Сены, – что у нее есть свой «типаж», намекая, мол, большинство выбранных мужчин (и даже некоторые женщины) ужасно на него похожи.

Те же темные волосы, пронизательный взгляд, точеные черты.

Как нечестно! В конце концов, она сама наделила мрак этими чертами. Придала ему форму, создала образ.

«Разве ты не помнишь, – спросила она, – те времена, когда был лишь тенью и дымом?»

«Дорогая, – ответил он своим глубоким тихим голосом, – я был самой ночью».

А сейчас – утро. Другой город, другое столетие. Сквозь занавески пробивается яркий свет, Тоби опять ворочается, выныривая из сна. И девушка по имени... Джесс снова боится дышать, воображая вариант пробуждения, в котором Тоби просыпается, видит ее и помнит.

В этой версии он улыбнется, погладит ее по щеке и скажет:

– Доброе утро.

Но ничего подобного не произойдет. Она не хочет встречать знакомый недоуменный взгляд, наблюдать, как юноша старается заполнить пробелы там, где должны быть воспоминания о ней, смотреть, как он берет себя в руки и изображает напускное безразличие. Она не раз видела подобное представление и знает все наизусть, поэтому соскальзывает с постели и босиком выходит в гостиную.

В зеркале прихожей ловит свое отражение и замечает то, что замечают все: семь веснушек, рассыпавшихся звездной полосой по щекам и носу. Ее личное созвездие.

Она подается вперед и обдает стекло дыханием, отчего то мутнеет. А потом кончиком пальца ведет по зеркалу, пытаясь написать свое имя.

А...д...

Но дальше не получается – буквы тают.

Ничего не выходит – как ни старается она произнести свое имя или рассказать свою историю. А она предпринимала множество попыток – карандашом, чернилами, краской, кровью.

Аделин.

Адди.

Ларю.

Бесполезно. Буквы рассыпаются или исчезают. Звуки умирают в горле.

Уронив руку, Адди отходит от зеркала и поворачивается, рассматривая гостиную. Тоби – музыкант. Признаки его творчества повсюду. К стенам прислонены инструменты. По столам раскиданы нацарапанные небрежной рукой стихи и ноты – наброски полузабытых мелодий валяются вперемешку со списками продуктов и планов на неделю. Но то тут, то там видна и другая рука: цветы, которые стали появляться на кухонном подоконнике, хотя Тоби не знает, как завел эту привычку; книга о Рильке – он не помнит, чтобы ее покупал. Вещи остались, пусть воспоминания и не сохранились.

Тоби не торопится вставать, поэтому Адди готовит себе чай. Тоби чай не пьет, но заварка в доме имеется – в шкафу стоят жестянка листового цейлонского чая и коробка с пирамидками. Сувениры, оставшиеся после ночной поездки в супермаркет, где юноша и девушка, держась за руки, бродили по проходам, потому что не могли заснуть. Потому что Адди не хотела, чтобы эта ночь закончилась. Не готова была ее отпустить.

Она поднимает кружку и вдыхает аромат воспоминаний. Лондонский парк. Пражский дворик. Переговорная в Эдинбурге. Прошлое, шелковой простыней наброшенное на настоящее.

Сейчас – свежее нью-йоркское утро. Окна запотели от холода. Адди берет покрывало со спинки дивана и набрасывает на плечи. Один конец дивана занимает футляр для гитары, другой – кот владельца квартиры, поэтому Адди присаживается на фортепианную банкетку и дует на чай.

Кот, которого тоже зовут Тоби (как объяснил его хозяин – «чтобы меня не принимали за чудика, когда я разговариваю сам с собой»), внимательно разглядывает гостью.

Адди любопытно, помнит ли ее животное.

Руки уже согрелись. Она ставит чашку на фортепиано, открывает крышку и разминает пальцы, а затем начинает играть – как можно тише. Из спальни доносятся звуки – просыпается Тоби-человек. Каждый дюйм тела Адди – от мельчайших косточек до последней клеточки кожи – застывает от ужаса.

Впереди самое неприятное.

Адди могла уйти – *должна* была уйти. Улизнуть, пока он спал, пока утро еще было продолжением их ночи, мгновением, застывшим в ловушке из янтаря. Но теперь слишком поздно. Поэтому она закрывает глаза и играет, опустив голову, даже сквозь музыку слыша его шаги; продолжает перебирать пальцами клавиши, даже когда он подходит к проему двери. Тоби стоит и разглядывает открывшуюся перед ним мизансцену, пытается собрать воедино хронологию вчерашнего вечера, гадая, где же та сбилась. Неужели он повстречал эту девушку и привел ее домой, а сам напился до чертиков и потому ничего не помнит?

Но Адди знает – Тоби не станет прерывать ее игру, поэтому еще несколько секунд наслаждается музыкой и лишь потом заставляет себя остановиться, поднять глаза, притворяясь, что не замечает его смущения.

– Доброе утро, – радостно произносит она.

Акцент у Адди совсем легкий. Французский провинциальный говор, некогда отчетливый, стал почти неразличим.

– Э... доброе, – отвечает он, запуская руку в спутанные черные волосы.

Надо отдать ему должное, Тоби выглядит как всегда – ослепительно. Он несколько удивлен, застав в своей гостиной симпатичную девушку в одном нижнем белье, футболке с принтом любимой группы Тоби и пледе, брошенном на плечи.

– Джесс, – подсказывает она имя, которое он никак не может вспомнить, потому что вспоминать нечего. – Я не обижусь, если ты забыл.

Тоби краснеет и прогоняет Тоби-кота, опускаясь на подушки дивана.

– Прости... Обычно со мной подобного не случается. Я не из таких ребят.

– А я не из таких девушек, – улыбается Адди.

Тоби улыбается в ответ, светлея лицом, а потом кивает на фортепиано. Хорошо бы он сказал нечто вроде «Я и не знал, что ты играешь», но вместо этого Тоби произносит:

– У тебя здорово получается.

Ты не представляешь, чему можно научиться при наличии свободного времени.

– Спасибо, – говорит она, пробегая пальцами по клавишам.

Тоби вдруг принимается хлопотать и направляется на кухню.

– Как насчет кофе? – спрашивает он, шаря по ящикам.

– Я нашла чай.

Адди снова начинает играть. Ничего замысловатого, просто поток нот. Начало какой-то мелодии. Она находит мотив, подхватывает его, позволяя музыке литься сквозь пальцы... В гостиную тут же возвращается Тоби с дымящейся чашкой в руках.

– Что это? – спрашивает он. Глаза его горят особенным светом, свойственным творческим людям – писателям, художникам, музыкантам. Тем, кому известно, что такое вдохновение. – Звучит знакомо...

Адди пожимает плечами.

– Ты играл это для меня вчера ночью.

Это не совсем ложь. Он в самом деле играл эту мелодию для нее. После того как она ему показала.

– Правда? – сосредоточенно хмурится Тоби. Отставив чашку с кофе в сторонку, он тянется за карандашом и блокнотом, что лежат на столе поблизости. – Господи, ну и набрался же я...

Он сокрушенно качает головой. Тоби не из тех авторов, которые пишут музыку под чью-то диктовку.

– А помнишь что-нибудь еще? – спрашивает он, листая блокнот.

Адди снова наигрывает мелодию, подсказывая ему ноты. Тоби не помнит, но он работал над этой песней несколько недель. То есть *они* работали. Вместе.

Адди с легкой улыбкой продолжает играть. Это и есть трава между шипами. Безопасный островок, куда можно встать. Она неспособна оставить след сама, но, если действовать осторожно, получится передать его через кого-то еще. Конечно, ничего конкретного, ну так и вдохновение – вещь эфемерная.

Тоби берет гитару, пристраивает на одном колене и подыгрывает Адди, мурлыкая себе под нос. Выходит хорошо, нечто другое, нечто особенное.

Она останавливается и встает.

– Мне пора.

Тоби поднимает взгляд, и мелодия на струнах рассыпается.

– Что? Но мы даже толком не познакомились.

– Именно, – отвечает Адди и направляется в спальню за своей одеждой.

– Но почему бы не познакомиться поближе? – возражает Тоби, откладывая гитару и волоочась следом за гостьей.

В этот миг все кажется ужасно несправедливым. На Адди впервые накатывает разочарование, что вот-вот выплеснется наружу. Ведь она недели напролет пыталась его узнать! А он забыл ее всего за несколько часов.

– Не спеши, – просит Тоби.

Прощаться Адди ненавидит. Не стоило задерживаться. Лучше было остаться вне поля его зрения, как и вне памяти, но ее всегда терзает мучительная надежда, что на сей раз все пойдет по-другому. Что кто-нибудь из них вспомнит.

«Я помню», – шепчет ей на ухо мрак.

Адди встряхивает головой, прогоняя навязчивый голос.

– Куда ты торопишься? – уговаривает Тоби. – Позволь хотя бы приготовить тебе завтрак.

Но Адди слишком устала, чтобы без передышки снова играть в ту же игру. Поэтому она врет, что у нее есть дела, не позволяя себе остаться. Просто нет сил начинать заново. Иначе цикл повторится вновь, только интрижка завяжется утром, а не вечером. И когда все закончится, легче не будет. Если уж начинать сначала, лучше в образе случайной незнакомки из бара, а не забытой партнерши на одну ночь.

В любом случае сейчас это неважно.

– Джесс, подожди, – просит Тоби, хватая ее за руку. Он хочет подобрать нужные слова, но сдается и пробует еще раз: – У меня сегодня выступление в «Эллоуэй». Ты должна прийти! Это...

Разумеется, она знает, где находится бар. Там они и встретились в первый раз, и в пятый, и в девятый. Когда Адди соглашается, он одаряет ее ослепительной улыбкой. Как всегда.

– Обещаешь? – спрашивает Тоби.

– Обещаю.

– Тогда увидимся там, – с надеждой произносит он, когда Адди поворачивается и идет к двери.

На пороге она оглядывается и говорит:

– А ты не забудь меня.

Старая привычка. Суеверие. Мольба.

– Разве у меня получится? – качает головой Тоби.

Адди смеется, словно он пошутил. Но, устремляясь вниз по лестнице, знает: это уже произошло. Закрыв дверь, Тоби ее и не вспомнит.

II

Март такой капризный – будто шов между весной и зимой. Однако слово «шов» предполагает, что тот должен быть ровным, а март похож на грубую линию стежков, выполненную нетвердой рукой. Он колеблется между январскими ветрами и июньской зеленью. Не знаешь, чего ждать, выходя за порог.

Эстель называла это «беспокойные дни»: теплокровные боги в эту пору начинают ворочатся, а холоднокровные – готовиться к спячке. Время, когда мечтателей посещают дурные мысли, а странники сбиваются с пути.

Адди всегда была предрасположена и к тому, и к другому. Немудрено, ведь она родилась десятого марта, прямо посередине шва, хотя давно разлюбила праздновать этот день.

Двадцать три года Адди боялась этой метки времени. Она означала, что Адди растёт, становится старше. Позже, спустя столетия, день рождения потерял всякий смысл. Гораздо важнее стала ночь, когда она заложила душу. Дата смерти и возрождения, слившаяся в одно целое.

Однако день рождения есть день рождения. В этот день положено получать подарки.

Адди замедляет шаг у бутика модной одежды, ловя в стекле свое отражение. В широком окне застыл на бегу манекен. Он склонил голову, словно прислушивается к тихой мелодии. Длинное туловище укутано в свитер с широкими полосами, ноги в блестящих леггинсах и сапогах до колена. Одна рука поднята вверх – цепляет пальцами за воротник куртку, переброшенную через плечо.

Адди разглядывает манекен и вдруг ловит себя на том, что пытается его скопировать – повторить позу, наклонить голову. Возможно, сегодня особенный день – то ли в воздухе витает обещание весны, то ли просто Адди в настроении попробовать что-то новое.

В бутике царит аромат незажженных свечей и ношеной одежды. Адди пробегает рукой по ряду шелка и хлопка и наконец берет полосатый свитер из кашемира. Вешает его на локоть вместе с теми самыми леггинсами. Свой размер она знает. Он не изменился.

– Добрый день! – приветливо здоровается жизнерадостная девушка-консультант. Ей около двадцати, как и Адди, и они похожи, хотя одна из них – настоящая и стареющая, а другая – лишь образ, застывший в янтаре. – Могу я вам чем-то помочь?

– Не беспокойтесь, – говорит Адди, забирая с витрины пару сапог. – Я сама.

Она идет за девушкой в заднюю часть магазина, где занавесками отделены три примерочные.

– Если что – зовите, и я тут же приду, – улыбается консультант, занавеска падает на место, и Адди остается наедине с собой, мягкой скамейкой и зеркалом в полный рост.

Она сбрасывает ботинки, снимает куртку и швыряет на скамейку. В кармане гремит мелочь, и что-то выпадает, приземляется с глухим стуком на пол и катится по тесной кабинке, остановившись только после удара о плинтус.

Это кольцо.

Небольшой круг, вырезанный из пепельно-серого дерева. Знакомый ободок, когда-то любимый, теперь же – вызывающий отвращение. Адди разглядывает его какое-то время, ее пальцы предательски дергаются, но она не тянется к кольцу, не поднимает, а лишь поворачивается спиной к деревянному кругляшу и продолжает раздеваться. Затем натягивает свитер, леггинсы, застегивает сапоги. Манекен был стройнее и выше, но Адди нравится, как на ней сидят вещи, нравится тепло кашемира, невесомость леггинсов, мягкая подкладка в сапогах.

Адди один за другим отрывает ценники, на количество нулей ей плевать.

«Joyeux anniversaire¹», – думает она, глядя в отражение.

Адди склоняет голову, словно тоже прислушивается к какой-то негромкой мелодии.

В отражении она видит самую что ни на есть современную девушку с Манхэттена, хотя лицо в зеркале веками остается неизменным.

Адди оставляет старую одежду скомканной кучей на полу кабинки. Кольцо валяется в углу, словно брошенное дитя. Забирает она лишь забытую было мягкую куртку из черной кожи.

Она такая поношенная, что стала тонкой как шелк. В наши дни за подобные вещи люди платят целое состояние и называют винтажными. Это единственное, что Адди отказалась скормить пожару в Новом Орлеане, хотя запах мрака вьелся в куртку как дым, он на всем оставлял неизгладимый отпечаток.

Но Адди все равно. Она любит эту куртку. Когда-то та была новой, а сейчас выглядит поношенной, какой никогда не станет ее хозяйка. Похоже на историю Дориана Грея, время отражается на коровьей шкуре, а не на человеческой коже.

Адди выходит из маленькой занавешенной кабинки.

Увидев ее, консультант в противоположном конце зала вздрагивает от неожиданности.

– Все подошло? – уточняет она.

Девушка слишком вежливая, чтобы признаться, что не помнит, как провожала кого-то в примерочные. Боже, благослови правила обслуживания клиентов!

Адди уныло качает головой.

– Иногда приходится довольствоваться тем, что есть, – вздыхает она, направляясь к выходу.

Когда консультант найдет ее одежду – призрак Адди, свернувшийся клубком на полу примерочной, – она уже забудет, чьи это вещи. Посетительница исчезнет из вида, мыслей и памяти.

Адди забрасывает куртку за плечо, подцепив пальцем за воротник, и выходит в солнечный день.

¹ С днем рождения (франц.).

III

Вийон-сюр-Сарт Франция, лето 1698

Аделин сидит на скамейке рядом с отцом. Он для нее загадка, мрачный великан, которому куда уютнее в мастерской, чем дома. У них под ногами – груда деревяшек, похожих на маленьких человечков, что свернулись калачиком под одеялом. Колеса телеги грохочут; Максим, выносливая кобыла, тащит ее по переулку все дальше от дома.

Дальше, дальше – слово, от которого бешено колотится маленькое сердечко Аделин.

Ей семь лет. Столько же у нее на лице веснушек. Она умная, маленькая и проворная, как воробушек. Аделин месяцами уговаривала отца взять ее на ярмарку. Умоляла, пока мать не заругалась, что девчонка сводит ее с ума, и вот отец наконец согласился. Он плотник, папа Аделин. Три раза в год по дороге, что тянется вдоль Сарта, ездит в Ле Ман – большой город. Сегодня Аделин отправилась с ним. Сегодня она впервые покидает Вийон.

Аделин оглядывается на мать, которая стоит в переулке возле старого тиса, скрестив руки на груди. Затем повозка заворачивает за угол, и мать исчезает.

Мимо проносится деревушка – дома, поля, церковь и роща. Мсье Берже рыхлит землю, мадам Теро развешивает выстиранную одежду, а ее дочь Изабель сидит рядом на травке и плетет венки, сосредоточенно высунув меж зубов кончик языка.

Когда Аделин похвасталась подружке предстоящей поездкой, Изабель лишь пожала плечами и сказала: «Мне и тут хорошо». Словно ты не можешь одновременно любить одно место и мечтать увидеть другое.

Глядя на проезжающую мимо Аделин, Изабель машет ей вслед. За дальним краем деревушки, куда Аделин выезжать еще не доводилось, колесо повозки попадает в выбоину на дороге и вздрагивает, словно тоже пересекает некий порог. Аделин замирает, ей кажется, внутри вот-вот натянется канат, что связывает ее с деревней.

Но она не ощущает никакого рывка, никаких пут. Повозка катит себе дальше, и Аделин, обернувшись, видит, как Вийон пропадает из виду. Она немного сбита с толку, слегка напугана. До сих пор деревня была для нее целым миром и вдруг оказалась лишь его частью, которая уменьшается с каждым шагом лошади, пока не становится размером с одну из отцовских фигурок, что могла бы уместиться на его мозолистой ладони.

Путь до Ле Мана займет целый день. Дорогу скрашивают корзинка матери и отцовская компания. Первая – благодаря хлебу и сыру, чтобы набить живот, вторая – благодаря смеху отца и его широким плечам, заслоняющим Аделин от жаркого летнего солнца.

Дома отец молчалив и всегда увлечен работой, но в дороге начинает оттаивать, откровенничать и говорить.

Говорить – значит, рассказывать Аделин сказки. Истории, которые он собирает, как другие собирают дрова.

– Il était une fois², – скажет он и пустится в повествования о дворцах и королях, богатстве и чарах, бал-маскарадах и великолепных городах.

«Давным-давно...» – так начинается сказка.

Аделин забыла сами истории, но будет вспоминать, как отец их рассказывает. Слова кажутся гладкими, точно речные камушки. Она гадает: продолжает ли отец делать это, оставаясь наедине с собой, нашептывает ли своим мягким голосом сказки в дороге лошадке Максим; бормочет ли их деревяшкам, когда занят работой... Или все они лишь для нее одной?

Аделин хотелось бы их записать.

² Давным-давно (франц.).

Позже отец станет учить ее письму. Мать, узнав об этом, устроит скандал: обвинит отца, что тот дает дочери лишний повод бездельничать, тратить почем зря день напролет. Однако Аделин все равно: улучив минуту, она станет убегать к нему, и отец позволит ей упражняться в написании собственного имени на тонком слое пыли, что вечно покрывает пол мастерской.

Но сегодня она только слушает.

Мимо проносится сельский ландшафт, привычная картина мира. Всё поля, да поля, такие же, как возле их дома, да знакомые деревья, и когда повозка въезжает в следующую деревню, та кажется бледным подобием Вийона. Аделин начинает задумываться – неужели весь большой мир так же сжат, как их маленький?

И вдруг показываются стены Ле Мана. Вдалеке разноцветным хребтом вдоль холмов высятся каменные гребни. Город в сто раз больше Вийона – по крайней мере, именно таким она его запомнила. У Аделин перехватывает дух, когда они проезжают в ворота и оказываются под защитой городских стен.

За их пределами простирается лабиринт людных улиц. Отец направляет кобылку между домами, тесно, как камни, прижавшимися друг к другу, и вот наконец узкая дорога приводит к площади.

В Вийоне, конечно же, есть площадь, да только она не больше, чем двор дома Ларю. Пространство же, что открывается перед Аделин, просто гигантское. Здесь столько народа, телег, торговых палаток, что и земли не видать. Отец останавливает повозку, и Аделин забирается на сиденье и дивится на ярмарку, пьянящий запах хлеба и сахара, что витает в воздухе, и людей, людей повсюду, куда ни кинь взгляд. Она никогда не видела такой толпы, не говоря уже о чужаках: перед ней раскинулось море чужаков с незнакомыми лицами и в непривычной одежде. Чужими голосами они выкрикивают странные слова. Аделин кажется, что ворота в ее мир широко распахнулись, словно к знакомому дому вдруг прибавилось множество комнат.

Отец прислоняется спиной к телеге и заговаривает со всяким, кто проходит мимо, а сам тем временем обрабатывает ножиком деревянный брусок, что крутит в руках. Он снимает стружки с такой легкостью, с какой другие чистят яблоко, и длинные ленточки падают ему под ноги. Аделин любит смотреть, как он работает, как фигурки обретают форму, будто были такими всегда, только прятались, словно косточка внутри персика.

Труд отца прекрасен: гладкое дерево искусной резки в грубых больших руках. Среди мисок и чашек, перемешанных с плотницкими инструментами, прячутся и игрушки на продажу: лошадка, мальчик, птичка, дом. Аделин выросла среди подобных безделушек, однако больше всего она любит не животных и не человечков.

Больше всего она любит кольцо.

Аделин носит его на тонком кожаном шнурке на шее. Кольцо пепельно-серого цвета, гладкое, точно полированный камушек. Отец вырезал его в день рождения дочери, сделал для девушки, которой она когда-нибудь станет. Аделин носит его будто талисман, будто амулет или ключ. Время от времени тянется к нему, поглаживая большим пальцем, как мать трогает четки.

Цепляясь за это кольцо, словно за якорь, способный удержать ее в бушующем море, Аделин забирается на задок повозки и наблюдает за всем. Она устроилась достаточно высоко, поэтому может разглядеть здания вдали. Аделин приподнимается на цыпочки, гадая, как далеко простираются дома, но вдруг лошадь, которая проходила мимо, задевает своей телегой их повозку, и Аделин едва не падает, однако рука отца успевает схватить ее и притянуть назад, в безопасность.

К концу дня, распродав весь товар, отец дает Аделин медяк и говорит, мол, купи себе все, что душе угодно.

Аделин бродит от прилавка к прилавку, глаза на пироги и пирожные, шляпки, платья, кукол, и наконец выбирает пачку пергамента для рисования, перевязанную воценой ниткой. Аделин восхищается чистотой листов, мысль, что пустоту можно заполнить всем, чем захочется.

На карандаши денег не хватает, но отец добавляет еще одну монетку и покупает пучок маленьких черных палочек. Он объясняет, что это уголь, и показывает, как нужно прижимать его к бумаге, как размазывать линию, превращая резкие штрихи в тени. Несколькими быстрыми движениями отец рисует в углу страницы птицу, и целый час Аделин пытается скопировать изображение – это ей куда интереснее, чем буквы, которые он подписал внизу.

Отец тем временем собирается в дорогу, ведь день уже клонится к закату. На ночь они остановятся на постоялом дворе, и Аделин впервые заснет в чужой постели и проснется под незнакомые звуки и запахи. А потом наступит миг – короткий, точно зевок, – когда, проснувшись, Аделин не сразу поймет, где она. И ее сердце пустится вскачь – сначала от страха, потом от чего-то еще. От чего-то, что она пока не в силах описать словами.

Домой в Вийон вернется уже другая Аделин – комната с окнами нараспашку, готовая впустить в себя свежий воздух, солнечный свет, весну...

IV

Осень 1703

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Вийон – прибежище католиков. Разумеется, та его часть, что на виду. В центре деревушки стоит церковь, мрачное каменное сооружение, куда жители ходят спасать душу. Мать и отец Аделин дважды в неделю преклоняют там колени, осеняют себя крестным знаменем, читают молитвы и ведут беседы о Боге.

Аделин уже исполнилось двенадцать, поэтому она следует примеру родителей. Но молится подобно тому, как отец соблюдает примету не класть хлеб вверх тормашками, как мать, лизнув большой палец, собирает со стола просыпавшуюся соль. Бессознательная привычка, но не вера.

Церковь в деревне не нова, как и сам Господь. Но Эстель научила Аделин думать о Нем иначе. Она говорит, перемены опасны тем, что позволяют новому вытеснить старое.

Эстель принадлежит всем и никому. Она сама по себе. Эстель выросла, словно дерево в центре деревушки у реки. Уж конечно, она никогда не была молодой – просто взяла и выскочила из самой земли сразу с шишковатыми пальцами, морщинистой, точно кора дерева, кожей и корнями, такими глубокими, что могут питаться из собственного тайного колодца.

Эстель верит, что новый Бог слишком благородный. Она думает, Он принадлежит королям и большим городам. Господь посиживает на золоченой подушке над Парижем, и на крестьян у него нет времени. Ему не место среди дерева и камня, у речной воды.

Отец Аделин считает Эстель чокнутой, а мать говорит, старуха отправится напрямиком в Ад. Как-то Аделин рассказала это Эстель, а та рассмеялась похжим на шуршание опавших листьев смехом и объяснила – не существует такого места, одна лишь холодная земля да обещание сна.

– А как же Небеса? – спросила Аделин.

– Небеса – это уютное местечко в тени дерева, что раскинет ветви над моей могилой.

Аделин исполнилось двенадцать, и она не знает, какому богу помолиться, чтобы отец передумал. Он собирается в Ле Ман: нагрузил повозку товаром, запряг Максим, но впервые за шесть лет Аделин с ним не поедет.

Отец пообещал привезти ей свежий пергамент и новый уголь для рисования, но оба они прекрасно знают: дочь предпочла бы обойтись вовсе без подарков – лучше снова увидеть мир, чем разжиться пачкой бумаги. Ей больше нечего рисовать – она успела запечатлеть и серые очертания деревушки, и знакомые лица жителей.

В этом году мать решила, что неправильно отпускать дочь на ярмарку, это уже неуместно, хотя Аделин знает – она вполне еще может уместиться на скамейке рядом с отцом.

Матери хочется, чтобы Аделин больше походила на Изабель Торо – милую, добрую и совершенно нелюбознательную. Та рада-радешенька вязать день напролет, не поднимая взгляд к небесам и не гадая, что же там за поворотом, за холмами.

Но Аделин не умеет быть такой, как Изабель. Ей не нравится так себя вести. Аделин хочется лишь поехать в Ле Ман и глазеть там на людей, любоваться поделками, пробовать еду, открывать что-то новое, о чем она прежде не слыхала.

– Ну пожалуйста, – умоляет Аделин, глядя, как отец взбирается в повозку.

Надо было укрыться среди товара в надежном месте под попоной. Однако уже слишком поздно. Аделин тянется к колесу, но мать хватает ее за руку и тащит назад.

– Довольно, – строго говорит она.

Отец смотрит на них, а потом отводит взгляд. Повозка трогается с места, Аделин пытается вырваться и догнать ее, но рука матери снова взлетает в воздух и на сей раз обжигает дочери щеку.

На глаза наворачиваются слезы, на щеке расцветает румянец, который позже сменит синяк, и суровый голос матери оглушает еще одним ударом:

– Ты больше не дитя.

И Аделин понимает, вернее, не понимает, а чувствует – ее наказывают как будто за то, что она выросла.

Она так злится, что хочет умчаться прочь. Схватить вязание матери и швырнуть в очаг, разбить все заготовки в мастерской отца!

Но вместо этого она смотрит, как повозка поворачивает за угол и исчезает за деревьями. Схватившись за кольцо на шее, Аделин ждет, пока мать отпустит ее и велит помочь по хозяйству.

И тогда Аделин отправляется на поиски Эстель. Эстель, которая все еще молится старым богам.

Лет в пять или в шесть Аделин первый раз увидела, как та бросила в реку каменную чашу. Чаша была очень красивой, с кружевным узором по бокам, а Эстель просто взяла и кинула ее в воду, любуясь брызгами. Она стояла с закрытыми глазами, ее губы шевелились.

Аделин подстерегла старуху – да, Эстель была старой, всегда была такой, – и по пути домой та объяснила, что молилась богам.

– О чем?

– Мари никак не может разродиться, – сказала Эстель. – Я попросила речных богов сгладить младенцу путь. Они это умеют.

– А зачем ты отдала им чашу?

– Боги ненасытные, Адди, вот почему.

Адди. Уменьшительное имя, которое мать презрительно называет «мальчишечьим». А вот отец любит так называть дочурку, но только наедине.

Это имя звенит в ее костях точно колокол. Имя, что подходит ей куда больше, чем Аделин.

Эстель она находит в саду, где та скрючилась, точно сломанная ветка среди разросшихся плетей кабачка, колючих зарослей ежевики.

– Адди, – произносит старуха, даже не подняв взгляда.

На дворе осень, земля усеяна семенами фруктов, что не успели вызреть как полагается. Адди пинает их носком башмака.

– Как ты говоришь с ними? – спрашивает она. – Со старыми богами. Ты призываешь их по имени?

Эстель выпрямляется, и ее суставы хрустят, словно сухие ветки. Если вопрос ее и удивляет, она этого не показывает.

– У них нет имен.

– Ты знаешь заклинание?

Эстель ехидно смотрит на нее.

– Заклинания для ведьм, а их часто сжигают на костре.

– Как тогда ты молишься?

– Приношу дары и хвалу, но даже тогда они непостоянны. Боги не обязаны отвечать.

– И что же делать?

– Продолжать.

Адди задумчиво покусывает щеку изнутри.

– Сколько всего богов, Эстель?

– Столько, сколько у тебя вопросов, – отвечает старуха без насмешки.

Надо лишь помолчать, затаить дыхание и дожидаться, пока Эстель смягчится. Это как, постучавшись к соседям, смиренно стоять у двери, зная, что кто-то есть дома. Когда слышишь шаги, тихий скрежет замка и понимаешь – вот-вот откроют.

Эстель вздыхает.

– Старые боги повсюду. Плавают в реке, растут на поле, щебечут в лесу. Они в солнечном свете, что ласкает пшеницу, и под молодыми деревцами весной, в виноградных лозах, обвивающих стену церкви. Они просыпаются на границе дня и ночи – на рассвете и в сумерках.

Адди прищуривается.

– Ты меня научишь? Научишь, как к ним обращаться?

Аделин Ларю не только умна, но и упряма. Старуха вздыхает и начинает пробираться через сад к дому, а девчушка следует за ней, боясь, что, если Эстель уйдет без ответа, разговор будет окончен. Но она поворачивается, обращая к Адди морщинистое лицо.

– Есть правила.

Адди ненавидит правила, но знает, что порой без них не обойтись.

– Какие, например?

– Ты должна проявить перед ними смирение. Предложить дар. Что-то ценное для тебя.

И быть осторожна в своих просьбах.

Адди ненадолго задумывается.

– И все?!

Лицо Эстель темнеет.

– Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не добры и не милосердны. Они капризны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись: проси осмотрительно и готовься заплатить. – Она нависает над Адди, накрывая ее своей тенью. – Запомни: какое бы несчастье тебе ни грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты.

Два дня спустя, когда возвращается отец и привозит пачку пергамента и обмотанную веревкой связку черных графитовых стержней, первое, что делает Аделин, – выбирает лучший и втыкает его в землю на задворках сада. И просит, чтобы в следующий раз отец взял ее на ярмарку с собой.

Если боги и слышат, то вида не подают.

На ярмарку Адди с тех пор не ездит.

V

Весна 1707

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Моргнешь, и годы опадают словно листья.

Аделин уже шестнадцать. Все говорят о ней как о летнем цветке, который нужно сорвать и поставить в вазу. Будто ее предназначение – расцвести, а затем сгнить. Взять хоть Изабель: все ее мечты – о семье, а не о свободе. Похоже, она довольна недолгим цветением и последующим увяданием.

Вот уж нет. Аделин лучше станет деревом, как Эстель. Если нужно пустить корни, она предпочла бы остаться среди дикой природы, не дать себя срубить. Жить в одиночестве, расти под открытым небом, чем пойти на дрова, что согреют чужой очаг.

Адди ставит корзину с бельем на бедро, взбирается на холм, откуда по заросшему бурьяном склону спускается к реке. У берега она опрокидывает корзину, выбрасывая грязную одежду прямо в траву. Среди юбок, фартуков и исподнего, словно секрет, прячется пачка пергамента. Не та, первая, – Адди собирала их год за годом, стараясь заполнить каждый дюйм пространства, использовать пустую страницу на всю катушку. Но все они похожи на тонкую свечу в безлунную ночь, что всегда слишком быстро гаснет. Способствует и то, что время от времени она приносит рисунки в дар.

Адди сбрасывает башмаки и откидывается на склон, примяв юбки. Проводит ладонью по сорной траве и нащупывает истрепанный уголок бумаги – один из своих любимых рисунков. На прошлой неделе сразу после рассвета она свернула его квадратом и зарыла на отмели. Посеяла свой дар, точно зернышко или обещание. Жертву.

Аделин все еще молится новому Богу, когда обязана это делать, однако, пока родители не видят, поклоняется и старым богам. Это проще простого: спрячешь одного за щекой, словно вишневую косточку, и беседуешь с другими.

До сих пор ей никто не ответил. Однако Аделин уверена, что они слушают.

Когда прошлой весной Жорж Каро начал по-особенному на нее поглядывать, Адди помолилась, чтобы он отвратил свой взор. И Джордж стал поглядывать на Изабель, которая вышла за него замуж и понесла первого ребенка, познав все сопутствующие тяготы.

Прошлой осенью Арно Тюль ясно выразил свои намерения, и Аделин помолилась, чтобы он нашел себе другую невесту. Этого не произошло, однако зимой бедолага захворал и умер. Аделин страшно устыдилась облегчения, которое испытала, узнав об этом, но отнесла еще безделушек к реке.

Она молилась, и кто-то, наверное, ее слышал, поскольку Адди все еще была свободна. Свободна от ухаживаний, от брака, от всего, да только не от Вийона. До поры Адди оставили в покое, и она взрослеет. И мечтает.

Аделин сидит на склоне, держа альбом на коленях. Из кармана она выуживает кисет на веревке. Внутри, как монетки в рыночный день, гремят кусочки угля и несколько почти стертых драгоценных карандашей.

Сначала Аделин обматывала грифели клочком тряпицы, чтобы пальцы не пачкались, но потом отец смастерил узкие деревянные полоски, в которые можно было вставлять стержни, и показал, как держать маленький нож и остро заточить уголь.

Рисунки стали более четкими, контуры резкими, детали подробными. Картины расцветали на бумаге словно пятна – пейзажи Вийона, портреты жителей. Очертания прически матери, глаза отца, руки Эстель... А вот и спрятанный в сгибы и края каждой страницы секрет Аделин.

Ее незнакомец.

Каждый свободный кусочек заполнен им. Это лицо Аделин рисует так часто, что ее рука движется совершенно бессознательно, линии появляются сами по себе. Она может нарисовать его по памяти, хотя они никогда не встречались.

В конце концов, он всего лишь плод ее воображения. Спутник, придуманный, во-первых, со скуки, а во-вторых, от тоски. Мечта, призванная разбавить одиночество.

Аделин не помнит, когда это началось, но однажды она окинула взглядом деревню и задумалась, чего хочет.

У Арно красивые глаза, но безвольный подбородок.

Жак высокий, но блеклый, как придорожная пыль.

Жорж сильный, но у него грубые руки, а повадки и вовсе как у деревенщины.

Поэтому Аделин собрала черты, которые находила приятными, и создала нечто новое. Незнакомца.

Сначала это казалось просто игрой, но чем больше Аделин его рисовала, тем увереннее становились линии, сильнее нажим карандаша.

Темные кудри. Светлые глаза. Упрямый подбородок. Покатые плечи и изогнутые, словно лук Купидона, губы. Мужчина, которого она никогда не встретит, жизнь, которой никогда не узнает, мир, о котором может только мечтать...

Когда ее одолевает беспокойство, Аделин достает рисунки и гладит пальцами теперь уже знакомые черты. А в часы бессонницы думает о нем. Не о высоких скулах или оттенке зелени, которым она наделила его глаза, но о голосе, прикосновении. Лежит и представляет, что он рядом, длинные пальцы вырисовывают невидимые узоры на ее коже.

Он знает много историй.

Не тех, которые обычно рассказывал отец – о рыцарях и королевствах, принцессах и ворах.

Не простые сказки и предупреждения не пересекать запретную черту, а такие истории, что кажутся правдой.

Описания дорог, сверкающих городов, мира, лежащего за пределами Вийона. Слова, что Аделин вкладывает в уста незнакомца, наверняка полны неточностей и лжи, однако звучат они так чудесно, так правдиво.

«Если бы ты только видела», – говорит он.

«Я бы все за это отдала», – отвечает Аделин.

«Когда-нибудь, – обещает незнакомец. – Когда-нибудь я тебе покажу. Ты все это увидишь своими глазами».

Слова, даже произнесенные мысленно, ранят. Игра превращается в желание – слишком искреннее чувство, слишком рискованное. И поэтому Аделин в своем воображении переводит тему в безопасное русло.

«Расскажи мне о тиграх», – просит она.

О гигантских кошках Аделин слышала от Эстель, а той поведал каменотес, что путешествовал в кибитке вместе с женщиной, которая клялась, мол, сама видела это животное.

Незнакомец улыбается, взмахивает сужающимися к кончикам пальцами и пускается в повествование о диковинных зверях – их шелковистой шерсти, острых зубах, яростном рыке.

Позабывтое белье валяется на насыпи рядом с Аделин. Одной рукой она рассеянно покручивает деревянное кольцо, другой – рисует глаза незнакомца, рот, линию обнаженных плеч, каждым касанием вдыхая в него жизнь, каждым штрихом сочиняя новую историю.

Расскажи о танцах в Париже.

Расскажи о плавании по морю.

Расскажи мне все.

Ничего опасного или стыдного в этом нет. Аделин слишком молода. Все юные девушки склонны к мечтаньям. «Она повзрослеет», – говорят родители, однако Аделин лишь крепко цепляется за упрямую надежду на нечто большее.

Мир должен расширяться, но вместо этого Аделин чувствует, как он сжимается, опутывая ее цепями по рукам и ногам.

Плоские линии ее тела начинают обретать выпуклости. И вот уже угольная крошка под ногтями выглядит неуместно, как и мысль о том, что одиночество предпочтительнее общества Арно, или Жоржа, или любого другого мужчины.

Аделин не в ладах со всем на свете, ей нигде нет места, она – оскорбление своего пола, упрямое дитя в теле женщины. Голова всегда опущена, руки крепко стискивают пачку пергамента, словно та – путь к спасению.

Когда она все же поднимает взгляд, он неизменно упирается в окраины деревушки.

– Мечтательница, – ворчит мать.

– Мечтательница, – горюет отец.

– Мечтательница, – предостерегает Эстель.

Но Аделин кажется, что в этом нет ничего плохого. Пока она наконец не пробуждается.

VI

10 марта 2014

Нью-Йорк

В перемещении по миру в одиночку есть своя гармония. Ты узнаешь, без чего можно и нельзя обойтись, какие простые потребности и маленькие радости определяют твою жизнь. Не еда, не крыша над головой, не основные телесные нужды – для Адди это роскошь, – а те вещи, благодаря которым сохраняешь рассудок. Они дарят удовольствие и делают жизнь сносной.

Адди вспоминает отца и его резьбу по дереву. Как он счищал кору и кромсал брусок, обнажая форму, что скрывалась внутри. Микеланджело называл это ангелом в мраморе³, хотя Адди в детстве этого не знала. Отец говорил, в дереве сокрыта тайна. Он умел заставить дерево покориться – отсекал щепку за щепкой, кусочек за кусочком, пока не обнажится сущность. И знал, что такое зайти слишком далеко: срежешь чересчур много, и заготовка сломается в руках.

У Адди было триста лет, чтобы попрактиковаться в отцовском искусстве, обкромсать самое себя и выяснить некоторые истины, осознать, без чего она не может существовать.

И вот что она в итоге поняла: можно обойтись без еды – Адди не зачахнет; без тепла – холод ее не убьет. Однако без искусства, без чуда, без прекрасного она сойдет с ума. Уже сошла.

Ей нужны истории.

Истории – это способ сохранить себя. Чтобы тебя помнили. И забыли.

Их можно поведать самыми разными способами: углем и песнями, картинами, стихами, фильмами.

И книгами.

С помощью книг, как выяснила Адди, можно прожить тысячи жизней. Или найти силы на одну очень длинную.

Через два квартала от Флэтбуша она замечает на тротуаре знакомый складной столик зеленого цвета. За ним в колченогом кресле горбится Фред, уткнув покрасневший нос в книгу под названием «М – значит молчание». Как-то старик заявил (еще когда читал «З – значит злоба»), мол, намерен одолеть всю «Алфавитную серию» Сью Грифтон до того, как откинёт копыта. Адди надеется, что у него все получится. Фреда терзает бесконечный кашель, и сидение на холоде только вредит. Но когда бы Адди ни появилась на этой улице, Фред всегда тут как тут.

Он не улыбается и не треплется попусту. Все, что Адди о нем знает, она вытянула по ниточке за последние пару недель. Дело шло крайне медленно и с перебоями. Он вдовец, живет наверху, книги принадлежали его жене – Кэндес. Когда та умерла, Фред собрал их и вынес на продажу. Это все равно что отпускать ее по частям, продавая свое горе. Он сидит здесь потому, что боится умереть у себя в квартире в одиночестве. Боится, что его не найдут – о нем попросту не вспомнят.

– Если я сыграю в ящик прямо тут, – говорит он, – хоть кто-нибудь да заметит.

Фред – угрюмый старикашка, но Адди он нравится. За его брюзгливостью скрывается горечь, сдержанность скорби.

Адди подозревает, что на самом деле он не хочет распродавать книги.

Фред не назначил за них цену, прочел всего несколько, а ведет себя иногда так грубо, говорит таким ледяным тоном, что распугивает покупателей. Однако они все равно подходят и разбирают товар. Но всякий раз, когда кажется, что выбор книг стал меньше, появляется новая коробка, и ее содержимое восполняет зияющие пустоты. В последние пару недель Адди стала замечать новые обложки среди старых, свежие издания, а также карманные брошюры потре-

³ «Я видел ангела в куске мрамора. И резал камень, пока не освободил его». Микеланджело Буонарроти.

панного вида, но с целыми корешками. Любопытно – покупает ли их сам Фред, или прохожие начали пополнять его странную коллекцию.

Адди замедляет ход, пробегаясь пальцами по переплетам. Выбор здесь словно попури нестройных нот. Триллеры, биографии, романы, в основном потрепанная популярная литература, иногда попадаются глянцевые твердые корешки.

Адди сто раз внимательно изучала все богатство, но сегодня просто цепляет крайнюю книгу легким и быстрым, как у иллюзиониста, жестом. Несложный фокус. Неустанная практика привела к совершенству. Адди сует книгу под мышку и продолжает путь.

Старик никогда не поднимает взгляд.

VII

10 марта 2014

Нью-Йорк

У края Проспект-парка кучкой старых кумушек гнездятся рыночные ларьки. Число киосков с белыми козырьками на зиму сократилось, а теперь опять стало расти. На прилавках с корнеплодами, хлебом, мясом и прочими устойчивыми к холодам продуктами тут и там появляются цветные вкрапления – новые товары.

Адди лавирует между покупателями, держа путь к маленькой белой палатке под названием «Проснись и пой», что притулилась у центральных ворот парка. Там торгуют кофе и выпечкой две сестры, которые напоминали Адди Эстель, если бы ту поделить на двоих женщин: одну оставить с тем же темпераментом, а другую сделать мягче, добрее, просто человеком, прожившим иную жизнь.

Сестры круглый год торчат на своем месте – и в снег, и в жару, нечто постоянное в бесконечной суете города.

– Здравствуй, милая, – улыбается Мел, обладательница широких плеч и буйных кудрей.

Она очень приветливая: всякому кажется, что ему здесь рады. Адди нравится исходящее от Мел уютное тепло, хочется закутаться в него, как в любимый поношенный свитер.

– Что закажешь? – интересуется Мэгги, та, которая старше и стройнее.

На первый взгляд кажется, что она редко улыбается, но морщинки вокруг ее глаз опровергают эти подозрения.

Адди заказывает большой кофе и пару маффинов, черничный и шоколадный, протянув scomканную десятку, которую нашла на столе у Тоби. Конечно, можно было бы стащить что-нибудь на рынке, но Адди нравятся уютная палатка и старушки-владелицы.

– Есть десятицентовик? – спрашивает Мэгги.

Адди выуживает из кармана мелочь, достает несколько четвертаков, затем пять центов и вдруг нащупывает кое-что еще. Деревянное кольцо снова на месте, теплое среди холодного металла. Коснувшись его пальцами, Адди сжимает зубы. Это словно назойливая мыслишка, от которой невозможно избавиться. Адди перебирает монетки, стараясь не трогать кольцо и сопротивляясь желанию зашвырнуть его в заросли травы. Она знает, что ничего этим не добьется. Кольцо всегда возвращается.

Мрак шепчет ей на ухо, обвивая горло руками, словно шарфом:

«Я всегда с тобой».

Адди вытаскивает десять центов и прячет остальное в карман.

Мэгги вручает ей сдачу: четыре доллара.

– Откуда ты, солнышко? – спрашивает Мел, замечая в произношении Адди слабый акцент.

Теперь он почти исчез: Адди лишь иногда проглатывает «с» и немного смягчает «т». За долгие годы ей так и не удалось до конца с ним распрощаться.

– Много где побывала, – отвечает она, – но родом я из Франции.

– Oh-la-la, – протяжно тянет Мел с четким бруклинским прононсом.

– Держи, милая, – говорит Мэгги, передавая Адди пакет с выпечкой и высокий бумажный стакан.

Она хватается за него, с наслаждением грея замерзшие пальцы. Кофе крепкий и черный, Адди делает глоток, внутри разливается тепло, и вот она уже снова в Париже, в Стамбуле, в Неаполе.

Глоток воспоминаний...

Адди направляется к воротам парка.

– Au revoir!⁴ – выкрикивает вслед Мел, старательно выговаривая каждую букву, и Адди улыбается в плывущий от кофе пар.

В парке воздух прохладен и свеж. Солнце взошло, но как бы оно ни пригревало, холодно еще по-зимнему. Адди выискивает солнечное местечко и опускается на покрытый травой склон под безоблачным небом.

Кладет поверх бумажного пакета черничный маффин и попивает кофе, разглядывая книгу, которую позаимствовала со стола Фреда. Адди не удосужилась посмотреть, что же схватила, но теперь ее сердце замирает при виде потертой мягкой обложки с названием на немецком языке.

«Kinder und Hausmärchen», Brüder Grimm.

Сказки братьев Гримм.

Немецкой Адди подзабыла. Он уютится в самом уголке памяти, которым она не пользовалась со времен войны. И вот Адди счищает с него пыль, зная, что язык как ни в чем не бывало лежит нетронутым под слоем грязи, стоит лишь ее смахнуть. Таков дар памяти. Она перелистывает хрупкие страницы, спотыкаясь взглядом о слова.

Давным-давно Адди любила такие сказки. В детстве, когда мир был маленьким, а она мечтала о распахнутых дверях.

Но теперь Адди слишком хорошо понимает, о чем эти истории. Сказки о простаках, что совершают глупости, предостерегающие легенды о богах и чудовищах, а еще о жадных смертных, которые желают слишком многого, а потом не могут понять, что потеряли. Пока не придется заплатить сполна и не станет чересчур поздно требовать вернуть все назад.

Голос, словно дым, заполняет ее грудь.

Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты.

Адди отбрасывает книгу прочь, закрывает глаза и опускается на траву, пытаясь насладиться теплом солнца.

⁴ До свидания (*франц.*).

VIII

29 июля 1714

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Аделин хотела быть деревом. Расти себе как вздумается, не принадлежать никому – лишь земле под ногами и небу над головой, как Эстель. У нее будет необычная жизнь, возможно немного одинокая, зато своя собственная. Она будет принадлежать лишь самой себе.

Но деревушки вроде Вийона опасны.

Моргнешь – и минул год.

Еще моргнешь – и пяти как не бывало.

Эта деревня словно щель между валунами – достаточно широка, чтобы затеряться. В таких местах время незаметно утекает и размывается. Исчезают месяцы, годы, даже целая жизнь. Здесь рождаются и ложатся в землю на одном и том же пятке.

Аделин собиралась стать деревом, но в ее жизнь вошли Роже и его жена, Полин. Они выросли вместе, поженились, а потом их брак сгинул в мгновение ока, быстрее, чем вы успели бы зашнуровать ботинки.

Тяжелая беременность, губительные роды, две смерти вместо одной новой жизни.

Из четырех малышек осталось трое. Над могилой еще не остыла земля, а отец уже ищет новую жену, мать своим детям, новую жизнь ценой единственной и неповторимой жизни Аделин.

Разумеется, она сказала «нет».

Аделин двадцать три – слишком стара для замужества. Двадцать три – треть жизни пропала зря. Двадцать три – и ее дарят словно призывную свиноматку мужчине, которого она не любит, не хочет и даже не знает.

Она сказала «нет» и выяснила цену этого слова. Оказалось, как и Эстель, она принадлежит деревне, и теперь деревня требует свое.

Мать заявила, что это ее долг.

Отец объяснил, что это удача, только Аделин не поняла, для кого.

Эстель промолчала, поскольку знала, что у Аделин нет выбора в этой нечестной сделке. Такова женская доля: покориться обычаю и знать свое место.

Она должна была вырасти деревом, а вместо этого пришли люди, размахивающие топором. И отдали ее.

В ночь перед свадьбой Аделин лежит без сна и мечтает о свободе. Бежать. Украсть отцовскую лошадь – пусть это полное безумие. Она тронулась умом настолько, что готова и на это.

Но Аделин просто молится.

Она молилась со дня помолвки. За это время половину своих пожитков она утопила в реке, а другую зарыла на поле или закопала в грязь на склоне холма среди кустарника, там, где деревня встречается с лесом. Теперь время заканчивается, и подношений почти не осталось.

Она лежит в темноте, покручивает деревянное кольцо на кожаном шнурке и размышляет, не выйти ли в ночь, не помолиться ли. Однако Аделин помнит грозное предостережение Эстель о тех, кто может ответить. Поэтому она складывает ладони и обращается к Богу своей матери. Просит о помощи, о чуде, о выходе. А в самый темный час даже умоляет о смерти Роже – все что угодно, лишь бы спастись.

На мгновение Аделин испытывает вину, но тут же всасывает это чувство обратно, как воздух, который только что выдохнула, и ждет.

* * *

Утро разбивается как яичный желток, выплескивая желтый свет на поле. Аделин, так и не сомкнув глаз, ускользает из дома еще до рассвета. Она петляет по высокой траве за огородами; юбки пропитываются водой. Аделин вязнет в тяжелой ткани, сжимая в руке любимый карандаш. Ей жаль с ним расставаться, но время почти вышло, и дарить больше нечего.

На поле она вонзает острый кончик карандаша во влажную почву.

– Помогите мне, – шепчет Аделин траве, озаренной солнечным светом. – Я знаю, вы тут. Знаю – вы слышите. Пожалуйста, пожалуйста...

Но трава – это просто трава, а ветер – просто ветер. Никто не отвечает. Адели прижимается лбом к земле и рыдает.

В Роже нет ничего плохого.

Но и ничего хорошего. У него нездоровая бледная кожа, тонкие светлые волосы, а голос – точно дуновение ветра. Он берет Аделин за руку и еле сжимает ее, склоняет к ней голову, обдавая затхлым дыханием.

Аделин же – овощ, что слишком долго рос на грядке. Кожура зачерствела, а сердцевина задеревенела, она так пожелала сама, но оказалось, все это лишь для того, чтобы ее выкопали и употребили в пищу.

– Я не хочу за него замуж! – яростно шепчет она, цепляясь за поросшую сорняками землю.

– Аделин! – кричит ее мать, точно окликает заблудшую овцу.

Аделин поднимается, опустошенная гневом и горем. Когда она входит в дом, мать замечает лишь руки, заляпанные грязью, и велит дочери отмыть их в тазу. Аделин вычищает почву из-под ногтей, а щетка кусает ее за пальцы.

– Что подумает твой муж! – пеняет ей мать.

Муж.

Это слово будто жерновой камень, такое же неподъемное и холодное.

– Ничего, вот родишь деток, и станет не до беготни.

Аделин снова вспоминает Изабель и пару мальчишек, цепляющихся за ее юбки. Третий малыш спит в корзине возле очага. Когда-то они вместе строили мечты, а теперь Изабель за два года постарела на все десять. Она всегда кажется уставшей, а там, где на щеках от смеха цвел румянец, темнеют провалы.

– Замужество пойдет тебе на пользу, – говорит мать.

* * *

День проходит как оглашение приговора. Солнце клонится к горизонту, словно коса падает на беззащитную шею. Аделин почти слышит свист лезвия, когда мать принимается укладывать ее волосы в корону, вплетая цветы вместо драгоценных камней. Ее платье – простое и светлое, но Аделин оно кажется таким тяжелым, будто сшито из кольчуги.

Ей хочется кричать.

Но вместо этого она хватается за деревянное кольцо на своей шее, словно пытается обрести равновесие.

– Не забудь снять перед церемонией, – велит мать, и Аделин кивает, крепче стискивая пальцы.

Из сарая, весь в стружке, пропахший древесным соком, приходит отец. Он кашляет, и слабый хрип отдается в его груди, точно рассыпавшиеся семена. Отец давно мучается этим кашлем, но не позволяет семье даже упоминать о нем.

– Ты почти готова? – спрашивает он.

Какой глупый вопрос.

Мать говорит о свадебном ужине, словно тот уже начался и закончился. Аделин смотрит в окно на заходящее солнце и не прислушивается, но в голосе матери звучат веселье и довольство. Даже отец смотрит с облегчением. Их дочь пыталась проторить собственный путь, но отныне все налаживается, упрямая жизнь возвращается в колею, сворачивает на правильную дорогу.

В доме чересчур тепло, застоявшийся воздух неподвижен, Аделин нечем дышать.

Наконец звонят церковные колокола – гулко, как на похоронах. Аделин заставляет себя подняться. Отец берет ее за руку. Лицо у него печальное, но хватка жесткая.

– Ты полюбишь своего мужа, – говорит он, но слова больше похожи на просьбу, чем на обещание.

– Ты будешь хорошей женой, – говорит мать, и ее слова больше похожи на приказ, чем на просьбу.

И вдруг в дверях появляется Эстель, одетая так, словно у нее траур. А почему нет? Эта женщина научила Аделин безумным мечтам, забила ее голову мыслями о свободе и несговорчивых богах, раздула угли надежды и позволила поверить, что жизнь может принадлежать ей самой.

Свет за седой макушкой Эстель почти угас.

«Время еще осталось, – говорит себе Аделин, – но оно улетучивается все быстрее с каждым вздохом. Время...» Она часто слышала, что его описывают как нечто равномерное и постоянное, будто песок в часах. Только это ложь, ведь Аделин чувствует, как оно, ускоряясь, обрушивается на нее. В груди раздается тревожный барабанный грохот, тропинка, ведущая наружу, непрерывной темной линией устремляется прямо к деревенской площади. На противоположном краю затаилась в ожидании церковь, светлая и незыблемая, точно надгробие. Аделин знает – если она войдет туда, обратно уже не выйдет.

Грядущее промчится мимо так же, как прошлое, только все будет еще хуже, потому что исчезнет свобода. Останется лишь супружеское ложе да смертное, возможно, между ними – роды. А потом Аделин умрет, будто никогда и не жила.

Не будет Парижа. Никакого зеленоглазого любовника, никаких плаваний на кораблях в дальние страны, никаких чужих небес. Никакой жизни за пределами Вийона.

Вообще никакой жизни, если только...

На тропинке Аделин вырывает руку из отцовской хватки и останавливается. Мать следит за ней, словно дочь собирается сбежать. Именно этого и хочет Аделин, однако понимает – это невозможно.

У нее кружится голова.

– Я приготовила мужу подарок, – вдруг вспоминает Аделин, – только оставила в доме.

Мать смягчается, одобрительно кивает.

Отец, заподозривший неладное, замирает на месте.

Эстель прищуривает глаза. Она знает.

– Пойду принесу... – Аделин поворачивает к двери.

– Я с тобой, – спохватывается отец, и сердце Аделин замирает, а пальцы дергаются.

Но Эстель его останавливает.

– Жан, – вкрадчиво говорит она, – Аделин не может быть одновременно женой и твоей дочерью. Теперь она взрослая женщина, а не ребенок, за которым глаз да глаз.

Отец всматривается в лицо Аделин и вздыхает:

– Поспеши.

Аделин уже умчалась.

Назад по тропинке, мимо двери в дом, через комнаты на противоположную сторону к открытому окну, оттуда на поле и к дальней полосе леса.

Восточную окраину деревни охраняют озаренные солнцем деревья. Их уже окутала тень, хотя свет еще не угас, время пока осталось.

– Аделин! – зовет отец, но та не оглядывается.

Она взбирается на окно и вываливается из него, цепляясь свадебным платьем за раму, а потом пускается бежать со всех ног.

– Аделин, Аделин! – кричат вслед голоса, но с каждым ее шагом становятся тише.

Вскоре Аделин пересекает поле, врывается в лес, ломая кустарник, и падает на колени прямо в жирную летнюю грязь. Стискивает в кулаке деревянное кольцо, оплакивая потерю еще до того, как снимает через голову кожаный шнурок.

Ей не хочется приносить его в жертву, но Аделин уже отдала земле все, что у нее было, и ни один из богов не ответил. Только кольцо и осталось. Солнце садится, деревня зовет, а Аделин отчаянно пытается сбежать.

– Пожалуйста, – прерывающимся голосом шепчет она, зарывая кольцо в поросшую мхом землю. – Я сделаю что угодно.

Над головой бормочут деревья, а затем затихают, словно тоже ждут. Аделин молится богам Вийонского леса, всем и каждому, кто готов слушать. Ее жизнь не может быть такой. Есть нечто большее.

– Ответьте же мне, – умоляет она. Свадебное платье пропитывается влагой.

Аделин зажмуривает глаза и изо всех сил напрягается, пытаясь услышать, но единственный звук – ее собственный голос на ветру и имя, эхом отдающееся в ушах.

– Аделин!

– Аделин...

– Аделин...

Аделин пригибает голову к земле, сгребая в горсти темную почву, и кричит:

– Ответь!

Тишина смеется над ней.

Аделин прожила здесь всю жизнь и ни разу не слышала, чтобы в лесу было так тихо.

Ее пронизывает холод; Аделин не знает – исходит ли он от леса или из ее собственных костей, заставляя отказаться от последней битвы. Веки Аделин по-прежнему закрыты, поэтому она не видит, что солнце уже скрылось за деревней и сумерки уступили место темноте.

Аделин молится и не замечает ничего.

IX

29 июля 1714

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Раздается звук – низкий грохот, глубокий и отдаленный, словно гром.

Смех.

Аделин открывает глаза и наконец замечает, что последние лучи солнца исчезли. Она поднимает взгляд, но ничего не видит.

– Кто здесь?..

Смех переходит в голос, что раздается где-то позади Аделин.

– Не опускайся на колени, – говорит он. – Встань, дай себя разглядеть.

Она вскакивает и поворачивается, но вокруг лишь тьма – безлунная ночь после захода солнца. И Аделин понимает, что совершила ошибку: это и есть один из богов, о которых предупреждала Эстель.

– Аделин, Аделин! – доносится со стороны деревни. Звуки слабые и далекие, словно шум ветра.

Она прищуривается, вглядываясь в тени между деревьями, но не видит никаких очертаний фигуры, ни самого бога, только его голос, он так близко, что обдает дыханием ее щеку.

– Аделин, Аделин, – передразнивает он. – Они зовут тебя.

Она снова разворачивается, но видит лишь густую тень.

– Покажись! – велит Аделин резким и хриплым, словно хруст ветки, голосом.

Что-то задевает ее плечо, касается запястья, прижимается к ней как любовник.

Аделин тяжело сглатывает.

– Кто ты?

Прикосновения тени исчезают.

– Кто я? – с иронией переспрашивает бархатный голос. – Зависит от того, во что ты веришь.

Голос раскалывается, двоится, гремит в ветках деревьев и змеится по мху, накладывается сам на себя, покуда не оказывается везде.

– Скажи мне – мне – мне, – эхом разносится он, – я дьявол – дьявол – дьявол – или тьма – тьма – тьма? Я монстр – монстр – монстр – или бог – бог – бог – или...

Лесные тени сгущаются, словно грозовые тучи. Но когда струйки дыма оседают, их края обретают четкие линии, очерчивают мужской силуэт, подсвеченный огнями деревни, что горят у него за спиной.

– Может, я такой? – произносят идеальные губы.

Тень открывает изумрудные глаза под черными бровями, на лоб падают черные кудри, обрамляя слишком знакомое Аделин лицо.

Это лицо она тысячи раз вызывала в своем воображении, воплощая карандашом, углем и даже во снах.

Это незнакомец. Ее незнакомец.

Аделин знает, что это какой-то фокус, лишь призрак в облике юноши, однако у нее все равно перехватывает дыхание. Сгустившийся мрак опускает взгляд вниз, на свою фигуру, словно видит себя впервые, и, похоже, зрелище ему нравится.

– Ах, значит, девушка все же во что-то верит... – Зеленые глаза смотрят на Аделин. – Что ж... Ты звала, и я пришел.

Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты.

Аделин прекрасно это знает, но больше никто не отозвался. Он единственный, кто может помочь.

– Ты готова заплатить?

Заплатить.

Принести жертву.

Кольцо.

Упав на колени, Аделин шарит по земле, нащупывает кожаный шнурок и хватается за кольцо отца. Она протягивает богу испачканный грязью деревянный ободок, и незнакомец подходит ближе. Хотя выглядит он человеком из плоти и крови, двигается все равно как тень. Единственный шаг – и он уже рядом, заслоняет обзор. Одну руку бог кладет на кольцо, а другую на щеку Аделин. Большой палец поглаживает веснушку под глазом – краешек ее созвездия.

– Дорогая, – говорит мрак, забирая подношение, – мне не нужны безделушки.

Деревянный ободок в его руке рассыпается и превращается в дым. Аделин задуманно всхлипывает: терять кольцо и без того больно, но еще больнее видеть, как оно исчезает с лица земли – словно грязь смыли с кожи. Но если и этого дара недостаточно, что же тогда?

– Пожалуйста, – умоляет Аделин, – я отдам что угодно.

Вторая рука тени все еще лежит на ее щеке.

– Думаешь, я чего-то от тебя хочу, – говорит он, приподнимая ее подбородок. – Но я беру плату только одной монетой.

Мрак склоняется еще ниже, зеленые глаза его невозможно яркие, а голос мягкий, точно шелк.

– Я покупаю лишь души.

Сердце Аделин пускается вскачь. Она представляет мать, которая стоит на коленях в храме и говорит о Боге и Небесах, слышит отца – он рассказывает ей сказки о загаданных желаниях. Думает об Эстель – старуха ни во что не верит, кроме дерева, что вырастет над ее костями. Душа, сказала бы она, всего лишь семя, возвращенное в почву. Хотя именно Эстель предостерегала ее от тьмы.

– Аделин, – шепчет мрак, и ее имя вязнет у него на зубах, будто мох, – я пришел. А теперь скажи, зачем ты меня звала.

Аделин так долго ждала этой встречи, его появления, возможности попросить, что сначала слова ее подводят.

– Я не хочу замуж.

Признавшись, она ощущает собственное ничтожество. Ее жизнь кажется ей ничтожной, и этот приговор отражается в глазах бога. Он как бы говорит – и все?!

Но нет, это не все, есть нечто большее.

– Я не хочу никому принадлежать, – с внезапной горячностью признается Адди. Эти слова точно распахивают шлюз, и из нее выливается остальное. – Никому, кроме себя самой. Я хочу свободы. Свободно жить, найти собственный путь, любить или остаться в одиночестве – по крайней мере, это будет мой выбор. Я устала от отсутствия выбора, меня пугают годы, что буквально проносятся под ногами! Не хочу умирать так, как жила – это и не жизнь вовсе.

Тень нетерпеливо ее перебивает:

– Зачем ты рассказываешь, чего не хочешь? – Его рука скользит в ее волосах, хватается за шею, притягивает ближе. – Лучше скажи, о чем больше всего мечтаешь.

Аделин поднимает на него взгляд.

– Хочу получить шанс жить. Хочу быть свободной. – Она думает о прошедших годах. Моргнешь – и полжизни утекло. – Хочу больше времени.

Мрак внимательно ее рассматривает. Зеленые глаза меняют оттенок – становятся то цвета весенней травы, то летней листвы.

– И сколько же тебе нужно?

У Аделин голова идет кругом. Пятьдесят лет, сто – все ей кажется слишком мало.

– Ах вот что, – ухмыляется мрак, правильно разгадав молчание. – Ты и сама не знаешь. – Зеленые глаза снова меняют цвет, на сей раз темнея. – Просишь неограниченного времени. Захотелось свободы без правил. Чтобы тебя ничто не связывало. Вздумалось жить по своему усмотрению.

– Да, – кивает Аделин, задыхаясь от желания, но незнакомец недоволен.

Он роняет руку, которой обнимал ее, и мгновенно оказывается в нескольких шагах – стоит, прислонясь спиной к дереву.

– Мой ответ – нет, – произносит мрак.

Аделин отшатывается, словно он ее ударил.

– Что?! – Она так далеко зашла, отдала все, что имела, сделала свой выбор. Пути обратно – в прежнюю жизнь, в настоящее и прошлое без будущего – нет. – Ты не можешь отказаться!

Темная бровь приподнимается, но во взгляде больше нет веселья.

– Разве я джинн, связанный твоими желаниями? – Он отталкивается от дерева. – Или какое-то мелкое лесное божество из тех, кто довольствуется жалкими безделушками смертных? Я сильнее вашего Господа и древнее самого дьявола. Я – тьма меж звезд, я – подземные корни. Я – обещание и сила, в этой игре мои правила, я расставляю фигуры и выбираю время. И сегодня я отвечаю тебе «нет».

Аделин, Аделин, Аделин!

Огни за опушкой леса подступают ближе. В поле горят факелы. Это идут за ней.

Тень бросает взгляд через плечо.

– Отправляйся домой, Аделин. Возвращайся в свою жалкую жизнь.

– Но почему? – всхлипывает она, хватая его за руку. – Почему ты мне отказываешь?

Теплым и нежным касанием, так похожим на прикосновение дыма, он гладит ее по щеке.

– Я не занимаюсь благотворительностью. Ты просишь слишком много. Сколько пройдет времени, пока ты насытишься? Когда я получу свое? Нет уж, я заключаю только конечные сделки, а ты предлагаешь иное.

Позже она будет тысячи раз возвращаться к этому мгновению. В минуты отчаяния и сожалений, печали, жалости к себе и неукротимого гнева. И тогда Аделин поймет: она наложила на себя темные чары раньше, чем ее проклял он.

Но здесь и сейчас Аделин видит лишь мерцающие огни факелов Вийона, зеленые глаза незнакомца, которого когда-то мечтала полюбить, и шанс на спасение, ускользающий вместе с касаниями его рук.

– Хочешь конца? – решительно говорит она. – Тогда забирай мою жизнь, когда она мне надоест. Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна.

Тень заинтригованно склоняет голову.

Улыбка – точь-в-точь такая, как на рисунках, кривая, хранящая множество тайн, – озаряет его черты. А потом он притягивает Аделин к себе. Это объятия любовника. Он весь – дым и кожа, воздух и кость. Его рот прижимается к ее губам, и первое, что ощущает Аделин, – смена времен года, тот миг, когда сумерки уступают ночи. Затем поцелуй становится глубже, зубы тени плавно скользят по ее нижней губе, и к удовольствию примешивается боль, за которой на языке появляется медный вкус крови.

– По рукам, – шепчет бог прямо ей в губы.

А потом мир поглощает чернота, и Аделин падает.

Х

29 июля 1714

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Аделин дрожит. Опускает взгляд вниз и понимает, что сидит на ложе из мокрой листвы. Секунду назад она падала – всего секунду, не успеешь сделать и вдоха, – но время, похоже, перескочило вперед.

Незнакомец исчез, как и последние отблески света. Летнее небо, что проглядывает сквозь кроны деревьев, налилось бархатной тьмой, посреди которой сияет лишь низкая луна.

Аделин поднимается на ноги, смотрит на свои чумазые руки, пытаясь отыскать сквозь грязь хоть какие-то признаки изменений.

Но все будто бы осталось... по-прежнему. Может быть, слегка кружится голова, словно Аделин слишком быстро вскочила или выпила лишку вина натошак, но вскоре проходит и эта зыбкость, остается только ощущение, что мир перевернулся, но не упал, накренился, а затем восстановил равновесие и вошел в старую колею.

Аделин касается языком губ, ожидая почувствовать вкус крови, но отметины, оставленная зубами незнакомца, исчезла, пропала, как и остальные следы его присутствия.

Как узнать, подействовали ли чары? Аделин просила времени – целую жизнь. Ждать ли ей теперь год, три или пять, чтобы увидеть, появятся ли признаки старения? Может, взять нож и рассечь кожу – посмотреть, заживет ли та и как это произойдет? Но нет, неуязвимости Аделин не просила, и, если начистоту, она просто боится этого. Боится обнаружить, что ее кожа все так же уязвима, понять, что обещания тени просто ей приснились или, хуже того, оказались ложью.

Аделин твердо уверена в одном: настоящая ее сделка или нет, она не откликнется на звон церковных колоколов и замуж за Роже не выйдет. Бросит вызов семье. Если понадобится – покинет Вийон. Она знает, что сделает все возможное, поскольку там, во тьме, была к этому готова. И, так или иначе, отныне ее жизнь будет принадлежать лишь ей самой.

Эта мысль приводит ее в трепет. Страхась и волнуясь, Аделин выходит из леса.

Лишь пройдя половину поля, она понимает, что в деревне стоит гнетущая тишина. И темнота.

Не горят праздничные фонари, не звонят колокола, никто не выкрикивает ее имя.

Аделин направляется домой, охваченная испуганным ужасом, и с каждым шагом тот все усиливается. К тому времени, как она добирается туда, голова у нее кружится от тревоги. Входная дверь отворена настежь, на дорожку льется свет, и Аделин слышит, как мать мурлычет на кухне, а отец рубит дрова за углом дома. Обычный поздний вечер, вот только он не должен быть обычным.

– Маман! – окликает Аделин, переступая порог.

Тарелка падает и разбивается об пол, и мать вскрикивает с перекошенным лицом – не от боли, а от неожиданности.

– Чего тебе? – требовательно спрашивает она, и в ее голосе сквозит гнев, которого ждала Адди. А еще смятение.

– Прости, – начинает та. – Знаю, ты, должно быть, злишься, но я никак не могла...

– Да кто ты такая?! – шипит мать, и Аделин понимает, что ее сердитое лицо выражает отнюдь не гнев оскорбленной матери, а испуг.

– Маман...

Мать вздрагивает от одного лишь слова.

– Убирайся из моего дома!

Но Аделин подбегает к ней и хватается за плечи.

– Что за глупости, это же я, А...

Она хочет сказать – Аделин. Старается изо всех сил. Три слога произнести не так уж сложно, однако они вдруг становятся непреодолимым препятствием. Уже после первого она начинает задыхаться и не может справиться со вторым. В горле словно застревают камни, и Аделин лишь безмолвно хватается ртом за воздух.

Она пытается опять произнести свое имя, на сей раз уменьшенный вариант – Адди, а затем фамилию – Ларю, но все тщетно. Слова застревают между разумом и языком. Однако в ту же секунду, когда Аделин делает вдох, чтобы сказать любое другое слово, оно рождается запросто, воздух наполняет легкие, и горло совершенно свободно.

– Отпусти меня, – умоляет мать.

– Что здесь творится? – требовательно вопрошает низкий и глубокий голос.

Голос, что утешал Аделин ночами, когда она болела, рассказывал ей сказки, пока она сидела полу в мастерской отца.

Сам он с охапкой дров стоит на пороге.

– Папа... – бормочет Аделин, и тот отшатывается, будто его ударили.

– Она сумасшедшая, – всхлипывает мать, – или злой дух.

– Я ваша дочь! – настаивает Аделин.

Отец морщится.

– У нас нет детей.

Эти слова вонзаются в нее тупым ножом. Рана становится еще глубже.

– Не может быть, – качает головой Аделин, не веря в нелепость происходящего. Каждый день и каждую ночь из своих двадцати трех лет она ночевала под этой крышей. – Вы же меня знаете!

Как они могли ее не узнать? Аделин так похожа на родителей – глаза отца, подбородок матери, лоб, губы... Все черты почти точная копия. Они ведь тоже это видят, они должны!

Однако для родителей это всего лишь очередное доказательство злых чар.

Мать осеняет себя крестным знаменем, руки отца обхватывают Аделин, и ей хочется прижаться к нему, окунуться в его тепло и силу, однако он лишь тащит ее к двери.

– Нет... – умоляет она.

Мать рыдает, прижав одну руку ко рту, другой сжимая деревянное распятие на шее. Она называет свою дочь порождением дьявола, чудовищем, сумасшедшей, а отец, ни слова не произнеся, крепко стискивает ее руку и вышвыривает из дома.

– Уходи... – почти просящим тоном велит он.

На лице его отражается печаль, но не та, что приходит вместе с узнаванием. Нет, так сожалеют о потерянных вещах, дереве, вырванном бурей, захромавшей лошади, резном орнаменте, испорченном неловким движением.

– Пожалуйста, – молит она, – папа...

Но он, помрачнев, выталкивает ее в темноту и захлопывает дверь, запирая дом на засов. В смятении, дрожа от ужаса, Аделин отшатывается. А потом поворачивается и мчится прочь.

* * *

– Эстель... – тихо шепчет она, словно молитву. У дома же старухи кричит в полный голос: – Эстель!

В хижине горит лампа. Когда Аделин подбегает к двери, у входа уже стоит Эстель, ожидая незваную гостью.

– Кто ты? Чужеземка или злой дух? – осторожно вопрошает старуха.

– Ни то, ни другое, – отвечает Аделин, представляя, как, должно быть, выглядит: платье разорвано, волосы растрепаны. Она выкрикивает слова точно заклинание: – Я человек из плоти

и крови и знаю тебя всю жизнь. Ты делаешь для ребятешек куколки-обереги, чтобы малыши не болели зимой, считаешь персики самыми сладкими из фруктов, говоришь, что церковные стены слишком толстые и не пропускают молитвы, и хочешь, чтобы тебя похоронили не под камнем, а в тени большого дерева.

В чертах старухи что-то неуловимо меняется, и Аделин замирает, надеясь, что наконец узнана.

Но проблеск слишком мимолетен.

– Смышленный дух, – говорит Эстель, – но в мое жилище не войдешь.

– Я не дух! – вскрикивает Аделин и бросается к свету, исходящему от двери. – Ты сказала мне о старых богах и способах их вызывать, но я ошиблась. Они все молчали, а солнце село слишком быстро. – Она крепко обхватывает себя, не в силах унять дрожь. – Я обратилась к ним чересчур поздно, кто-то ответил, и все пошло наперекосяк.

– Глупая девчонка, – упрекает ее Эстель. На сей раз голос звучит уже теплее. Словно она узнала гостью.

– И что же мне делать? Как все исправить?

Но старуха лишь качает головой.

– Тьма играет в собственные игры, – говорит она. – Устанавливает свои правила. И ты проиграла.

Сказав это, Эстель возвращается в дом и запирает дверь.

– Постой! – кричит Аделин.

Она всем телом ударяется в закрытую створку и рыдает, пока у нее не подкашиваются ноги. Аделин опускается на холодные каменные ступени, продолжая колотить кулаком по дереву.

А потом внезапно засов открывается. Дверь распахивается и появляется Эстель.

– Что стряслось? – спрашивает она, изумленно рассматривая девушку, которая скорчилась на ее крыльце.

Старуха смотрит на нее так, словно они никогда не встречались. Прошедшие минуты напрочь стерла запертая дверь. Недоуменный взгляд скользит по испачканному свадебному платью, растрепанным волосам, грязным ногтям, но на морщинистом лице нет узнавания, одно лишь сдержанное любопытство.

– Ты чужеземка? А может, злой дух?

Аделин крепко зажмуривается. Да что ж такое? Она все еще неспособна исторгнуть из горла звук своего имени. Когда ее приняли за злого духа, то вытолкали в зашей, потому Аделин тяжело сглатывает и отвечает:

– Я не из ваших мест. – По ее лицу струятся слезы. – Пожалуйста... Мне некуда больше пойти, – умоляет она.

Старуха смотрит на нее долгим взглядом и все же кивает.

– Жди здесь, – говорит она, улизнув обратно в дом.

Аделин никогда не узнает, что собиралась сделать Эстель, поскольку дверь захлопывается и остается закрытой, а Аделин так и сидит на коленях, дрожа больше от потрясения, чем от холода.

Она сидит еще долго, сама не знает, сколько, но когда пытается подняться – ноги совершенно не слушаются. Аделин направляется мимо дома старухи к деревьям, растущим позади, что стоят стеной, словно часовые, – прямо в беспросветную тьму.

– Покажись! – кричит она.

Но раздается только шорох расправленных крыльев, шуршание листьев под ногами, рябь потревоженного сонного леса. Аделин вызывает в памяти его лицо, эти черные локоны, зеленые глаза, старается снова придать мраку форму, но проходят мгновения, а она по-прежнему одна.

Я не хочу никому принадлежать.

Аделин ступает в глубину леса. Это совсем нехоженое место, повсюду переплелись ежевика и кустарник, колючие ветки цепляют ее за голые ноги, однако беглянка не останавливается, пока вокруг не смыкаются деревья, чьи ветви заслоняют луну над головой.

– Я призываю тебя! – выкрикивает она.

Разве я какой-то джинн, связанный твоими желаниями?..

Низко растущая ветка, что наполовину утопает в лесном ковре, хватается за ноги Аделин. Она тяжело падает, вспахивая коленями неровную землю, а руками разрывая поросшую травой почву.

Пожалуйста, я отдам что угодно!

Из глаз вдруг брызжут слезы. Глупая, глупая, глупая! Аделин в отчаянии бьет кулаками по земле.

Это гадкий фокус, кошмарный сон, но он пройдет! Сны ведь по своей природе недолговечны.

– Проснись! – шепчет она во тьму.

Проснись.

Аделин сворачивается клубком на лесной подстилке, зажмуривается и видит залитое слезами лицо матери, искаженное тоской лицо отца, усталый взгляд Эстель. Она видит мрак – он улыбается. Слышит его голос, шепчущий слова, что связали их навеки.

По рукам...

XI

10 марта 2014

Нью-Йорк

В траву поблизости приземляется фрисби. Раздается топот бегущих ног, Адди открывает глаза и успевает заметить лишь огромный черный нос, стремительно приближающийся к ее лицу, а затем собака покрывает ей щеки влажными поцелуями.

Засмеявшись, Адди садится и треплет густую шерсть. И едва успевает схватить зверюгу за ошейник, не дав той стащить пакет с оставшимся маффином.

– Привет! – машет она хозяину собаки, который с противоположной стороны лужайки выкрикивает извинения.

Адди бросает фрисби обратно, и пес уносится прочь. Она дрожит от холода – сна больше ни в одном глазу. Таков уж март: тепло всегда заканчивается быстро. Есть в этом месяце узкий промежуток, когда он притворяется весной. Этого достаточно, чтобы, греясь на солнце, вы оттаяли, но тепло недолговечно. Солнце уходит, и подкрадываются тени. Адди снова дрожит и рывком поднимается с лужайки, отряхивая леггинсы.

Надо было украсть штаны потеплее.

Спрятав бумажный пакет в карман, Адди сует книгу Фреда под мышку и покидает парк, направляясь на восток, вниз по Юнион, а потом вверх к набережной.

На полпути она замирает, заслышав звуки скрипки, ноты ложатся одна к одной, точно спелые фрукты. У края тротуара на табуретке пристроилась женщина, зажав инструмент подбородком. Плывет мелодия, медленная и нежная, и Адди мысленно возвращается в Марсель, Будапешт, Дублин...

Горстка прохожих останавливается послушать. Песня заканчивается, и раздаются негромкие аплодисменты, а затем снова звуки шагов. Адди, отыскав в кармане последнюю мелочь, бросает ее в распахнутый футляр, и музыка возобновляется, становясь более легкой и глубокой.

Добравшись до кинотеатра в Коббл-Хилл, Адди проверяет расписание, потом толкает дверь и быстрым шагом пересекает переполненный вестибюль.

– Привет! – перехватывает она парнишку с метлой. – Похоже, я забыла сумочку в третьем зале.

Врать легко, если знаешь, что сказать.

Уборщик кивает, не поднимая глаз, и Адди ныряет под бархатный шнур билетера в темный коридор. С каждым шагом ее походка становится размереннее. Из одних дверей доносится приглушенный гром – там показывают боевик. Из соседних створок просачивается музыка – романтическая комедия. Взлетают и опускаются голоса, Адди неторопливо вышагивает по коридору, изучая плакаты с анонсами и надписи с названиями фильмов над дверями. Она сто раз их видела, да и плевать.

Похоже, в пятом уже идут титры – его двери распахиваются, и в холл выплескивается толпа. Сквозь поток выходящих Адди проталкивается в опустевший зал, между первым и вторым рядом находит перевернутое ведро попкорна, чьи золотистые камушки усеяли липкий пол. Берет его и возвращается в вестибюль, где пристраивается в очередь к буфету за тремя девочками-подростками.

Наконец Адди подходит к стойке, за которой ждет юноша-буфетчик. Адди зарывается рукой в волосы, слегка их взъерошив, и огорченно вздыхает.

– Простите, – говорит она, – какой-то малыш опрокинул мой попкорн. – Адди встряхивает головой, и буфетчик эхом копирует ее движение. – Может, вы просто подсыпете мне немного, и я доплачу, чтобы не...

Она уже лезет в карман, будто бы за бумажником, но парень забирает у нее ведро.

– Не переживайте, – говорит он, озираясь, – я понял.

– Вы просто чудо, – сияет Адди, заглядывая ему в глаза, и парень отчаянно краснеет.

Заикаясь, он бормочет, что это не проблема, совсем не проблема, хотя и бросает по сторонам взгляды – не появится ли менеджер. Высыпает остатки старого попкорна, наполняет ведро свежим и, как бы тайком, передает обратно.

– Наслаждайтесь фильмом.

* * *

Из всех изобретений, чье появление в мире довелось наблюдать Адди, – паровозы, электрическое освещение, фотография, телефоны, самолеты, компьютеры – больше всего она любит кино.

Книги прекрасны – они компактны и долговечны, но, когда ты сидишь во мраке кинотеатра и смотришь на большой экран, весь мир исчезает, и на несколько коротких часов можно притвориться кем-то другим. Окунуться в романтику и интриги, комедию и приключения. И все это со стереозвуком и полноформатным изображением.

Начинаются титры, и в груди вновь поселяется тяжесть. Какое-то время Адди словно парила, а теперь приходит в себя и тонет, пока ноги не оказываются прикованы к земле.

Адди выходит из кинотеатра почти в шесть вечера, солнце уже садится. Она возвращается по обсаженным деревьями улицам, проходит через парк – рынок уже закрыт и в палатках никого нет, – к проржавевшему зеленому столику. Фред все еще сидит в своем кресле и читает «М – значит молчание». Раскладка переплетов на столе немного изменилась: тут зияет дыра на месте проданной книги, там – воткнут новый корешок. Свет тускнеет, скоро Фреду придется собрать коробки и унести их обратно в дом, подняться на два этажа вверх в свою спальню. Адди не раз предлагала ему помощь, но Фред решительно отказывался. Этим он тоже напоминает Эстель – негнибаемую, точно черствый хлеб.

У столика Адди ныряет вниз и поднимается с книгой в руке, словно та только что упала. Осторожно, чтобы не опрокинуть стопку, кладет ее обратно. Наверное, Фреду как раз попался какой-нибудь захватывающий момент: он что-то бурчит, даже не взглянув на Адди или бумажный пакет, который та примостила поверх книги. С последним шоколадным маффином.

Фреду нравятся только шоколадные. Однажды утром он рассказал Адди, как Кэндес всегда устраивала ему выволочку за любовь к сладкому, приговаривая, что она сведет его в могилу, но жизнь – та еще сволочь с извращенным чувством юмора. Кэндес больше нет, а он до сих пор ест дерьмо (слова самого Фреда, не Адди).

Холодает, и Адди прячет руки в карманы. Она желает Фреду доброй ночи, а потом отправляется дальше, повернувшись спиной к заходящему солнцу и догоняя тень, которая вытянулась далеко вперед.

* * *

Уже совсем темнеет, когда Адди добирается до «Эллоуэй», одного из тех баров, что, похоже, кичатся статусом дешевой забегаловки, только все портят многочисленные визиты знаменитостей, желающих «почувствовать Бруклин». У тротуара слоняется кучка людей. Они курят, болтают, ждут друзей, и Адди ненадолго задерживается среди них. Стреляет сигарету, просто чтобы чем-то заняться, и старается как можно дольше сопротивляться желанию легко толкнуть дверь. Ее настигает дежавю.

Она знает этот путь. Знает, куда тот ведет.

Внутри помещение «Эллоуэй» формой напоминает бутылку виски: узкое горлышко входа, стойка темного дерева, ведущая к комнате со столиками и стульями. Адди присаживается у бара. Парень слева предлагает ей выпивку, и она соглашается.

– Дай угадаю, – улыбается он, – розе?

Адди хотела было заказать виски, просто чтобы посмотреть, как вытянется от удивления его лицо, однако это совсем не ее напиток. Она всегда любила сладкое.

– Шампанское.

Парень делает заказ, и они ведут непринужденный разговор, пока не раздастся звонок, и незнакомец отходит, пообещав скоро вернуться. Адди отлично знает, что его не стоит ждать, и даже благодарна за это. Она потягивает шампанское – скоро на сцену выйдет Тоби.

Тот выходит, садится, приподняв одно колено, чтобы примостить на нем гитару, и робко, почти виновато улыбается.

Тоби еще не научился захватывать внимание публики, но у него все впереди. Он оглядывает небольшую толпу и начинает играть. Адди закрывает глаза, растворяясь в музыке. Тоби исполняет несколько каверов, затем один из напевов собственного сочинения в стиле фолк.

А потом *это*.

Над залом пролетают первые аккорды, и Адди снова оказывается в квартире Тоби, где сидит за фортепиано, извлекая ноты из клавиш. Он тоже там, прямо позади нее, и пальцы его лежат поверх ее пальцев.

Затем все сливается воедино, в мелодию вплетаются слова. Теперь она принадлежит Тоби. Будто росток, что пустил корни. Тоби будет помнить без посторонней помощи. Не ее – конечно, не ее, – но песню. Их песню.

Музыка заканчивается, сменяясь аплодисментами. Тоби бочком пробирается к стойке, берет себе «Джек Дэниелс» с колой (для него выпивка за счет заведения), где-то между вторым и третьим глотком замечает Адди и улыбается. На какой-то миг ей кажется, он ее вспомнил. Однако правда в том, что Тоби просто ее хочет. При плохом освещении влечение легко принять за узнавание.

– Извини, – говорит Тоби, наклоняя голову, как делает всегда, если смущается. Как в то утро, когда нашел ее у себя в гостиной.

Кто-то задевает Адди за плечо, протискиваясь к двери.

Адди моргает, и морок рассеивается.

Она так и не вошла. Все еще стоит на улице, сигарета в руке истлела до фильтра. Незнакомец придерживает для нее створку:

– Заходишь?

Адди качает головой и заставляет себя отступить – от проема двери, от бара, от парня, который вот-вот выйдет на сцену.

– Не сегодня, – отвечает она.

Оно того не стоит.

XII

10 марта 2014

Нью-Йорк

Окутанная ночью, Адди бредет по Бруклинскому мосту. Весна поманила обещанием тепла и схлынула, точно прилив, вновь сменившись влажным холодом зимы. Адди выдыхает облачко пара, плотнее кутается в куртку и пускается в долгий путь по Манхэттену. Можно было просто поехать на метро, но Адди не любит находиться под землей, где воздух спертый и затхлый, а туннели так похожи на гробницы. Оказаться в ловушке, быть похороненной заживо – вот чего ты боишься, если неспособна умереть. К тому же Адди не против прогуляться. Она знает, как сильны ее ноги, и наслаждается усталостью, которой раньше опасалась.

Совсем в позднем часу, с онемевшими от холода щеками, еле волоча ноги, Адди добирается до «Бакстера» на Пятьдесят шестой. Портье в элегантной серой форме придерживает дверь, и Адди входит в мраморный вестибюль. От внезапного прилива тепла кожу начинает покалывать. Мечтая о горячем душе и мягкой постели, Адди направляется к распахнутым дверям лифта, но консьерж за конторкой поднимается с места.

– Добрый вечер, – говорит он. – Чем могу помочь?

– Я к Джеймсу, – отвечает Адди, не замедлив шага. – Двадцать третий этаж.

– Его нет, – хмурится консьерж.

– Так даже лучше, – улыбается Адди, заходя в лифт.

– Мэм! – кричит он, торопясь за ней. – Нельзя просто...

Но двери уже закрываются. Ему не успеть, и он это знает. Портье разворачивается к конторке, тянется к телефону позвонить в службу безопасности, и это последнее, что видит Адди перед тем, как створки смыкаются.

Возможно, он поднесет трубку к уху, даже начнет набирать номер, а потом мысль ускользнет. Портье недоуменно вытаращится на телефон, гадая, что же собирался сделать, горячо извинится перед голосом на том конце линии и опустится в свое кресло.

* * *

Квартира принадлежит Джеймсу Сент-Клеру. Пару месяцев назад они познакомились в кафе в центре города. Когда он вошел, все места были заняты. Из-под его зимней шапки выбивалась белокурая прядь волос, очки запотели от холода. В тот день Адди была Ребеккой. Не представившись, Джеймс поинтересовался, нельзя ли присесть к ней за столик. Он увидел, что незнакомка читает «Chérgi» Колетт, и сумел произнести пару фраз на неловком ломаном французском. Затем сел, и после обмена улыбками завязалась непринужденная беседа. Забавно, многим требуются годы, чтобы оттаять, а другие запросто заходят в каждую комнату, как к себе домой.

Джеймс был как раз из последних, тех, которые мгновенно вызывают симпатию.

На его вопрос Адди ответила, мол, она поэтесса. Соврать было легко – никто ни разу не спрашивал доказательств. Про себя же Джеймс объяснил, что у него перерыв между проектами. Адди растягивала свой кофе сколько могла, но в итоге чашка все равно опустела, как и у Джеймса. К тому же в заведении появились новые клиенты, которые словно стервятники принялись кружить в поисках свободных стульев. Джеймс начал вставать, и Адди окутала знакомая грусть. Но тут Джеймс поинтересовался, любит ли она мороженое, и, хотя стоял январь и земля была покрыта льдом и солью, Адди ответила, что любит. На сей раз они поднялись из-за столика вместе.

И вот теперь Адди набирает на консоли у его двери шестизначный код и заходит внутрь. Включается свет, заливая деревянный пол и чистые мраморные столешницы, роскошные портьеры и мебель, что все еще выглядит нетронутой. Кресло с высокой спинкой. Кремовый диван. Стол с аккуратными стопками книг.

Адди расстегивает сапоги, выступает из них у порога и босиком шагает по квартире, бросив куртку на подлокотник кресла. На кухне наливает стакан мерло, из ящика в холодильнике берет брусок сыра Грюйер, а из буфета – коробку деликатесных крекеров и устраивает импровизированный пикник в гостиной, где за стеклом от пола до потолка расстилается город.

Она роется в аудиозаписях Джеймса, выбирает Билли Холидей, усаживается, подогнув колени, на кремовый диван и принимается за еду.

Она могла бы полюбить такой дом, будь тот ее собственным. Удобная кровать. Полный шкаф одежды. Дом, где повсюду были бы следы ее жизни, вещественные доказательства памяти. Но, похоже, Адди неспособна удержать что-либо надолго.

Хотя не сказать, чтобы она не пыталась.

Адди годами собирала книги, хранила предметы искусства, прятала в сундуки изысканные платья. Но что бы она ни делала, вещи пропадали. Исчезали одна за другой или все разом, унесенные странными стечениями обстоятельств, а может, просто временем. Только в Новом Орлеане у нее был дом, да и тот принадлежал не ей одной, но теперь его больше нет.

Единственное, от чего Адди не может избавиться, – это кольцо. Было время, когда она боялась снова с ним расстаться. Время, когда Адди оплакивала потерю. Когда ее сердце радостно забило при мысли вновь обладать им десятилетия спустя.

Теперь же она его не выносит. Оно неприятно тяготит карман ненужным напоминанием об очередной утрате. Каждый раз, когда пальцы задевают деревянный ободок, Адди буквально ощущает, как мрак целует ей костяшки, снова надевая кольцо.

Видишь? Теперь мы в расчете.

Вздвигнув, Адди опрокидывает бокал, и через край выплескиваются капли красного вина, кровавыми отметинами ложась на кремовую обивку дивана. С уст Адди не срывается ругательство, она не мчится за газировкой и полотенцем. Просто наблюдает, как пятна впитываются и исчезают. Словно их никогда и не существовало.

Словно никогда не существовало Адди.

Она поднимается и идет принимать ванну. Смывает грязь городских улиц душистым маслом, оттирает кожу дочиста стодолларовым мылом. Когда все утекает сквозь пальцы, ты учишься смаковать ощущения. Адди откидывается на бортик ванны и вдыхает аромат лаванды и мяты.

В тот день они отправились за мороженым, она и Джеймс, а потом голова к голове ели его в кафе, воруя сироп друг у друга из чашек. Шапку он бросил на столик, обнажив светлые кудри, и выглядел совершенно ошеломительно. И пусть не сразу, но все же Адди заметила, что за ним следят.

Она привыкла к мимолетным взглядам – у нее были резкие, но женственные черты: созвездие веснушек на щеках, сияющие глаза. Красота, над которой не властно время, как ей говорили. Но здесь крылось нечто иное. Люди поворачивали головы. Задерживали взгляды. Когда она поинтересовалась, почему, Джеймс посмотрел на нее с веселым изумлением и признался, что на самом деле играет в довольно популярном шоу. Сказав это, он залился румянцем, отвернулся, а затем снова глянул на Адди, будто готовился к каким-то радикальным переменам. Но она никогда не видела его шоу, а даже если бы и так, Адди не из тех, кто сходит с ума по знаменитостям. Слишком долго жила она на свете, слишком много знала актеров. И даже, можно сказать, в большей степени предпочитала тех, кто все еще не закончил искать свой образ.

Итак, Джеймс и Адди продолжили...

Она посмеивалась над его мокасинами, свитером, очками в проволочной оправе. Джеймс отшучивался, что родился не в том десятилетии. Адди заявила, что родилась не в том веке. Он дурачился, а она нет, однако в его манерах и впрямь проглядывало нечто старомодное. Ему было всего двадцать шесть, но в разговоре Джеймс немного понижал тон и произносил слова неторопливо, как человек, который знает силу своего голоса. Он принадлежал к тому типу молодых людей, что одевались на манер своих отцов. Глупая возня юношей, которые слишком торопятся повзрослеть.

Голливуд тоже это заметил, и Джеймсу стали доставаться роли в костюмных пьесах.

– Мое лицо создано для сепии, – пошутил он.

– Лучше для нее, чем для радио, – улыбнулась Адди.

Он и впрямь был красив, однако что-то в нем было не так. Джеймс улыбался чересчур уверенной улыбкой человека с секретом. Они доели мороженое, и тогда Джеймс признался. Легкая радость, которой он фонтанировал, угасла, Джеймс уронил пластиковую ложечку в чашку, закрыл глаза и произнес:

– Извини.

– За что? – удивилась Адди.

Он откинулся на спинку стула и взъерошил волосы. Со стороны жест мог показаться небрежным, как кошачье потягивание, но стоило Джеймсу заговорить, на лице его отразилась боль.

– Ты очень красивая, добрая, забавная...

– Но? – надавила Адди, предчувствуя проблемы.

– Я – гей.

Слово будто застревало у Джеймса в горле, пока он объяснял, какое давление на него оказывали, как он ненавидит пристальный взгляд СМИ и все их претензии. Пошли сплетни, люди начали задавать вопросы, а он оказался не готов им рассказать.

И тогда Адди поняла, что все это постановка. Сцена, разыгранная на всеобщее обозрение в стеклянной витрине кафе-мороженого. Джеймс продолжал извиняться, мол, не следовало ему флиртовать, использовать ее подобным образом. Но Адди не прислушивалась к его словам.

Взгляд у него стал остекленевшим, заставляя ее задуматься, не к этому ли приему он прибегал, когда по сценарию требовались слезы. Если, конечно, Джеймс именно этого добивался. У Адди, разумеется, тоже имелись секреты, но ей ничего не оставалось, как продолжать их хранить.

Однако она хорошо знала, каково скрывать правду.

– Пойму, если ты решишь уйти, – признался Джеймс.

Но Адди не вскочила и не схватила пальто.

Просто потянулась и украла с края его миски чернику.

– Не знаю, как ты, – легкомысленно сказала она, – а я отлично провожу день.

Джеймс прерывисто вздохнул, смаргивая слезы, и улыбнулся.

– Я тоже, – заявил он, и все пошло на лад.

Гораздо легче поделиться секретом, чем мучительно его хранить, поэтому, снова рука об руку выйдя на улицу, они чувствовали себя заговорщиками, у которых кружится голова от разделенной тайны.

Адди не переживала насчет того, что ее увидят, заметят: если бы кто-то и сделал снимки, те бы просто не получились.

(Кто-то все же их сфотографировал, но лицо Адди всегда было благополучно смазано или затемнено, и всю следующую неделю заголовки в таблоидах кричали о загадочной девушке, пока неизбежно не сменились другими, более любопытными для публики.)

Они вернулись сюда, в его квартиру в «Бакстере», чтобы выпить. Столы были сплошь завалены книгами и документами по Второй мировой войне. Джеймс признался, что готовится к роли, читая все рассказы очевидцев, которые смог отыскать.

Он показал их ей, эти печатные свидетельства, и Адди сказала, что когда-то интересовалась войной и знает несколько историй. Она поделилась с ним, выдав их за чужие переживания, а не за собственный опыт. Джеймс слушал, устроившись в углу кремового дивана и поставив на грудь бокал виски.

Они заснули рядом на огромной кровати, согреваясь теплом друг друга, а на следующее утро Адди проснулась до рассвета и улизнула, избавив обоих от неловкого прощания.

Ее преследовало смутное ощущение, что они бы подружились. Если бы, конечно, Джеймс ее вспомнил. Адди старается об этом не думать, но порой ей грезится ее гипотетическое будущее, перед ней разматываются нити дорог, на которые она никогда не ступит. Но так и рехнуться недолго, поэтому Адди привыкла туда даже не заглядывать.

И вот она вернулась, а его нет.

Адди кутается в один из пушистых махровых халатов Джеймса, распахивает стеклянные створчатые двери и выходит на балкон спальни. На улице ветер, подошвы босых ступней обжигает холод. Вокруг низким ночным небом, полным фальшивых звезд, раскинулся город. Адди сует руки в пустые карманы халата и на дне находит его.

Маленький деревянный ободок.

Вздохнув, Адди вытаскивает его наружу. Облокотившись о балконные перила, заставляет себя посмотреть на кольцо. Внимательно изучить, будто ни разу не видела. Адди поглаживает обод, противясь желанию надеть его на палец. Конечно, она думала об этом в самые тягостные минуты, в миг, когда силы были на исходе. Но Адди не сломить. Она наклоняет ладонь и позволяет кольцу упасть во тьму.

Вернувшись в квартиру, Адди наливает еще бокал вина и забирается на великолепную кровать, укладывается на египетские простыни, укрывшись пуховым одеялом. Она жалеет, что не вошла в «Эллоуэй». Что не дождалась в баре Тоби. Тоби, с его растрепанными кудрями и застенчивой улыбкой. Тоби, который пахнет медом, играет на телах, словно на музыкальных инструментах, и занимает так много места в постели.

XIII

30 июля 1714

Вийон-Сюр-Сарт, Франция

Чья-то рука встряхивает Аделин, и та просыпается. На миг она не понимает, где очутилась, словно еще находится под властью сонного морока и видения – должно быть, это лишь видение – о молитвах молчаливым богам, о заключенных под покровом тьмы сделках, о забвении.

Аделин всегда обладала живым воображением.

– Проснись... – говорит голос, который она знает всю жизнь.

Рука снова крепко хватает ее за плечо, и Аделин прогоняет остаток сна. Над ней деревянный потолок сарая, кожу колет солома, а рядом на коленях стоит Изабель, чьи светлые волосы заплетены короной, а брови тревожно хмурятся. С каждым ребенком ее лицо немного увядает, каждые роды крадут еще один кусочек жизни.

– Вставай, глупышка.

Прежде Изабель бы так и сказала – упрек в ее голосе сглаживала доброта. Но губы подруги обеспокоенно поджаты, на лбу залегла складка. Она всегда хмурилась именно так – всем своим видом, но когда Аделин тянется разгладить морщинку у нее между бровями (чтобы стереть переживания, как делала тысячи раз прежде), Изабель отшатывается от прикосновения незнакомки.

Выходит, это не сон.

– Матьё! – кричит Изабель через плечо. В дверном проеме сарая стоит ее старший сын, держа в руках бадью. – Пойди-ка принеси одеяло.

Парнишка исчезает в солнечном свете.

– Кто ты? – спрашивает Изабель.

Аделин пытается ответить, забыв, что неспособна назвать себя. Имя застрекает у нее в горле.

– Что с тобой стряслось? – настойчиво вопрошает Изабель. – Ты заблудилась?

Аделин кивает.

– Откуда ты?

– Отсюда.

Изабель хмурится еще сильнее.

– Из Вийона? Не может быть! Мы бы обязательно встретились. Я тут всю жизнь живу.

– Я тоже, – бормочет Аделин.

Изабель, скорее всего, решает, что незнакомка бредит, поскольку качает головой, отбрасывая нелепую мысль.

– Ох уж этот мальчишка, куда запропастился? – ворчит Изабель и снова обращается к Аделин: – Ты можешь подняться?

Они выходят во двор. Аделин вся перепачкалась, но Изабель не отпускает ее, ведет под руку. У Аделин перехватывает дыхание от такой доброты, от тепла ее прикосновения.

Изабель обращается с ней как с дикаркой, разговаривает мягко, плавно двигается, ведя Аделин к дому.

– Тебе больно?

«Еще как», – думает Аделин.

Но, разумеется, Изабель спрашивает о ссадинах, порезах и ранах, а насчет них Аделин не слишком уверена. Она оглядывает себя. Ночью самое ужасное скрывала тьма. В утреннем же свете все оказалось как на ладони. Испорченное свадебное платье. Порванные туфельки. Запятнанная лесной грязью кожа. Прошлой ночью, пробираясь через заросли ежевики, Аделин

поцарапалась о колючки, но сейчас на ее теле нет ни воспаленных рубцов, ни ран, ни следов крови.

– Нет, – тихо отвечает она, когда девушки ступают в дом.

Не видно ни Маттьё, ни Анри, только третий ребенок – еще младенец, Сара, – посапывает в корзине у очага. Изабель усаживает Аделин на стул напротив малыша и ставит на огонь горшок с водой.

– Ты так добра, – шепчет Аделин.

– Я был странником, и вы приняли Меня⁵.

Это из Библии.

Изабель подносит к стулу таз и тряпку, опускается на колени у ног Аделин, осторожно снимает грязные туфельки, ставит их к очагу, затем начинает счищать лесную грязь с рук гостью и землю из-под ее ногтей.

Между делом Изабель засыпает Аделин вопросами, на которые та пытается ответить, однако имя ей все еще не дается. А когда она говорит о своей жизни в деревне, о тени в лесу, о сделке, что они заключили, слова, сорвавшись с губ Аделин, не долетают до ушей подруги.

Лицо той становится невыразительным, взгляд – неподвижным, и когда гостя наконец умолкает, Изабель быстро трясет головой, словно пытается пробудиться ото сна.

– Прости, – говорит она со смущенной улыбкой, – так что ты сказала?

Позже Аделин выяснит, что обрела способность лгать, и слова станут течь как вино: легко льются, легко проглатываются. Но правда всегда замирает на кончике языка. История Аделин останется нерасказанной для всех, кроме нее самой.

Изабель вручает гостье чашку. Младенец в корзине начинает ворочаться.

– До ближайшей деревни не меньше часа на лошади, – говорит Изабель, беря спеленутую малышку на руки. – Ты прошла весь этот путь пешком? Должно быть...

Она, конечно же, обращается к Аделин, но голос ее звучит мягко, нежно, а взгляд устремлен к Саре. Изабель вдыхает аромат младенческого пушка на макушке ребенка.

Похоже, подруга просто создана для материнства – слишком наслаждается им, ни на что больше не обращая внимания.

– Так что же нам с тобой делать, – воркует Изабель.

Снаружи на тропинке у дома раздаются шаги, словно кто-то идет по ней в тяжелых ботинках. Изабель слегка втягивает шею, похлопывая малышку по спинке.

– Это мой муж, Жорж.

Аделин хорошо знает Жоржа. Однажды, когда им было по шесть лет и поцелуи считались разменной монетой, как фигурки в игре, она его поцеловала. Но теперь ее сердце трепещет от ужаса. Аделин вскакивает, с грохотом роняя на стол чашку.

Бойтся она не Жоржа, а порога дома и того, что случится, когда Изабель за него выйдет. Аделин хватает ее за руку, быстро и крепко, и страх впервые искажает черты подруги. Но вскоре ее лицо разглаживается.

– Не волнуйся, – успокаивает она. – Я с ним поговорю. Все будет хорошо. Подожди, пожалуйста.

И не успевает Аделин сказать и слова, ей вручают младенца, а Изабель выходит из комнаты.

Страх сжимает грудь, но Изабель уже нет. Через распахнутую дверь слышны голоса во дворе, а слова уносит ветер. Малышка хныкает, и Аделин принимается слегка раскачиваться, успокаивая ребенка и саму себя. Дитя умолкает. Аделин как раз укладывает ее в корзину, когда раздается резкий вздох.

⁵ Евангелие от Матфея, Синодальный перевод.

– Отойди от нее. – Это вернулась Изабель. От ужаса голос ее натянут точно струна. – Кто тебя впустил?

Христианская доброта мгновенно растаяла под напором материнского страха.

– Ты впустила, – отвечает Аделин, борясь с желанием рассмеяться.

Ей не смешно – это дает о себе знать безумие.

Изабель в ужасе таращится на нее.

– Врешь! – кричит она, бросаясь вперед, и только рука мужа ее останавливает.

Он тоже смотрит на Аделин, словно на дикое животное, волчицу, что пробралась в дом.

– Я не хотела причинить никакого вреда, – клянется Аделин.

– Тогда убирайся, – приказывает Жорж.

Другого выхода нет. Аделин кладет ребенка и покидает комнату, оставляя чашку с бульоном, таз на столе и бывшую подругу.

Поспешно выходя во двор, она замечает, как Изабель прижимает дочь к груди, а затем в проеме двери встает Жорж с топором в руке, словно незнакомка – дерево, что вот-вот рухнет, и тень его падает на их дом.

Потом уходит и он. Дверь запирают на засов. Аделин стоит на тропинке, не зная, что делать и куда податься. В ее сознании отпечатались колеи – гладкие и глубокие. Ноги множество раз носили ее в этот дом и обратно. Тело знает дорогу. Пройдешь по ней, повернешь налево и увидишь собственный дом, что отныне стал чужим Аделин, хотя ноги сами ведут ее туда.

Ноги... Аделин трясет головой. Туфельки остались сохнуть у очага Изабель. Но у стены дома стоят ботинки Жоржа. Аделин забирает их и отправляется в путь. Не в дом, где выросла, а назад к реке, где когда-то начинала молиться.

Воздух уже прогрелся и источает жару. На берегу реки Аделин сбрасывает ботинки и входит в неглубокую воду. Та плещется у ее икр, целует ямки под коленями. От холода перехватывает дух. Аделин смотрит вниз, ища свое отражение. В глубине души ей кажется, что она ничего не увидит, лишь отсвет неба над головой, но в глади реки отражается ее лицо, искаженное бегущей водой.

Расплетенные косы, широко распахнутые глаза. Семь веснушек, смахивающих на брызги краски. Лицо, перекошенное страхом и гневом.

– Почему ты не ответил? – яростно шипит Аделин солнечному лучу, блеснувшему на речной поверхности.

Но вода лишь рассыпается мягким переливчатым смехом, журча по камням.

Аделин сражается со шнуровкой свадебного платья, сдирает грязную тряпку и опускает в воду. Течение вцепляется в ткань, пальцы хотят ее отпустить. Позволить реке отнять последний клочок ее жизни, но у Аделин и так почти ничего не осталось.

Она и сама окунается в воду, выпутывая из волос остатки цветов, смывая с кожи лесную грязь. На берег она выходит замерзшей, взбудораженной и обновленной. Солнце стоит высоко, день выдался жаркий, Аделин раскладывает платье на берегу на просушку и в одной сорочке садится рядом. Платье – словно призрак ее самой. Аделин смотрит на себя и понимает – больше у нее ничего нет.

Платье. Сорочка. Пара украденных башмаков.

В смутной тревоге Аделин начинает рисовать палкой бессмысленные узоры на иле, облепившем берег. Но каждая нацарапанная ею линия растворяется. Все происходит слишком быстро, река не успела бы ее смыть. Аделин проводит черту и еще не доходит до конца, как та начинает расплываться. Пытается написать свое имя, но рука замирает, придавленная тем же камнем, что не дает поворачиваться языку. Аделин чертит линию глубже, с силой надавливая на песок, но это неважно: вскоре и она исчезнет. Гневно всхлипнув, Аделин швыряет палку в сторону. На глаза наворачиваются слезы.

Вдруг слышится топот маленьких ножек. Адди моргает: перед ней стоит круглолицый малыш. Четырехлетний сынишка Изабель. Адди брала его за руки и кружила, пока они, хохоча, не валились с ног.

– Здравствуйте, – говорит мальчик.

– Здравствуй, – отвечает она чуть дрожащим голосом.

– Анри! – кричит мать малыша, выходя на берег с корзиной грязного белья.

Заметив сидящую в траве Аделин, Изабель протягивает руку – не подруге, а сыну.

– Иди сюда, – велит она, голубыми глазами пристально рассматривая незнакомку и обращаясь к ней: – Кто ты?

Аделин кажется, что она стоит на краю крутого склона и земля уходит у нее из-под ног. Теряет равновесие и снова падает в жуткую пропасть.

– Ты заблудилась?

Déjà vu. Déjà su. Déjà vécu.

Она это уже видела. Уже знала. Уже прожила.

Они это уже проходили, поэтому теперь Аделин знает, куда ступать и что сказать. Знает, какие слова отзовутся добром. Если спросить правильно – Изабель ответит ее к себе в дом, набросит на плечи одеяло, предложит чашку бульона. Какое-то время это будет действовать, пока не закончится.

– Нет, – качает головой Аделин, – просто иду мимо.

А вот этого говорить нельзя, и лицо Изабель мрачнеет.

– Женщине не следует путешествовать в одиночку. Особенно в таком виде.

– Знаю, – кивает Аделин. – Меня ограбили.

– Кто? – бледнеет Изабель.

– Незнакомец в лесу, – отвечает Аделин. В сущности, она не врет.

– Тебе больно?

«Да, – думает Аделин. – Ужасно больно». Но заставляет себя сказать:

– Переживу.

Выбора-то все равно нет.

Подруга опускает таз со стиркой на траву.

– Подожди здесь, – просит она, снова становясь доброй и щедрой Изабель. – Я скоро вернусь.

Она берет кроху-сына на руки и поворачивает к дому. Стоит ей скрыться из вида, Аделин хватается за платье, у которого все еще не просох подол, и натягивает его.

Разумеется, Изабель опять все забудет. На полпути к дому она опомнится, замедлит шаг и станет гадать, почему пошла обратно без стирки. Решит, что на нее нашло помрачение – где же набраться сил с тремя детьми, один из которых к тому же все время орущий младенец, и вернется к реке. На сей раз на берегу не будет незнакомки, платья, сохнувшего под солнцем, только палка, брошенная в траве, да гладь ила.

* * *

Аделин сотни раз рисовала дом, где живет ее семья. Изображала угол наклона крыши, рельеф поверхности двери, тень, которую роняет мастерская отца, и ветви старого тиса, что застыл, словно часовой, на краю двора. За ним она сейчас и прячется, глядя, как у сарая щиплет траву Максим, развешивает на просушку белье мать, обстругивает деревяшку отец.

Оставаться нельзя. Вероятно, можно было бы... попробовать отыскать способ пересканировать из дома в дом, как камушек, запущенный по воде. Но Аделин не хочет. Ведь, думая об этом, она чувствует себя не рекой или камнем, а рукой, что устала метать.

Она вспоминает Эстель, закрывающую дверь... Изабель – добрую, а через мгновение до смерти напуганную...

Позже, много позже Аделин научится играть в эту игру и поймет, сколько раз можно переступить с ветки на ветку, прежде чем упадешь. Но пока боль слишком свежа, слишком остра, происходящее сложно осознать, как и невыносимо видеть усталый взгляд отца и упрек в глазах Эстель.

Аделин Ларю не в силах оставаться чужой для тех, кого знала всю жизнь. Слишком больно смотреть, как они ее забывают.

Мать торопливо уходит в дом, и Аделин покидает свое убежище за деревом и направляется во двор. Не ко входу в дом, а к мастерской отца.

В единственном окне со ставнями не горит лампа, весь свет – лишь тонкая полоска солнца, что пробивается через открытую дверь, но и этого достаточно.

Аделин наизусть знает, как здесь все устроено. Сладковатый воздух пахнет землей и смолой. Пол покрыт стружками и пылью, все поверхности уставлены статуэтками отца.

Деревянная лошадка, вырезанная с натуры – с Максим, конечно, только не больше кошки. Набор мисок – их украшением служат лишь кольца дерева, из которого они сделаны. Стайка птичек, каждая размером с ладонь. Одни только взмахнули крыльями, другие их сложили, третьи расправили в полете.

Аделин умеет рисовать мир углем и карандашом, а вот отец всегда творил с помощью ножа. Вырезал из ничего фигурки, придавая им форму, вдыхая жизнь.

Зачем она пришла сюда? Аделин не знает. Возможно, попрощаться с отцом, самым любимым человеком на всем свете. Она хочет его запомнить. Помнить не грусть забвения в глазах, не хмурое лицо, с каким он вел ее в церковь, а вещи, которые отец любил.

Как учил ее держать угольный стержень, с помощью нажима руки менять форму и придавать рисунку глубину и объем. Его песни и сказки. Те пять летних дней путешествия на рынок, когда Аделин стала достаточно взрослой для поездок, но еще маленькой, чтобы не вызвать скандал. Его заботливый дар – деревянное кольцо, которое отец сделал для единственной дочери в день ее рождения. То самое, что она подарила мраку.

Даже сейчас рука Аделин тянется к шее – коснуться кожного шнура, и что-то внутри сжимается, когда она понимает: кольцо исчезло навсегда.

По столу разбросаны обрывки пергамента, испещренные рисунками и чертежами, отметками готовых и будущих изделий. У края притулился карандаш. Аделин тянется к нему, хоть где-то в глубине души и раздастся боязливое эхо.

Она подносит стержень к бумаге и начинает:

«Дорогой папа...»

Но карандашные линии быстро тускнеют. Стоило Аделин дописать эти два слова, как те исчезают. Она в сердцах бьет рукой по столу, опрокидывает небольшой горшочек с олифой, и драгоценное масло проливается на записи отца и деревянную столешницу. Аделин в ужасе пытается собрать бумаги, пачкает руки и задевает одну из крошечных птичек.

Только паниковать ни к чему.

Масло уже просачивается внутрь бумаги и тонет, словно камень, брошенный в реку, пока не растворяется окончательно. Так странно пытаться это осознать, понять, что исчезло, а что нет...

Олифа растаяла, но и обратно в горшке не появилась, тот все еще пустой лежит на боку, содержимое пропало. Пятен на пергаменте тоже нет, он нетронут, как и стол под ним. Лишь руки Аделин испачканы, масло покрывает завитки на подушечках пальцев, линии ладоней.

Все еще недоуменно таращась на свои руки, она шагает назад, и раздастся ужасающий треск дерева, раздавленного каблуком.

Это маленькая деревянная птичка, чье крылышко сломалось об земляной пол.

Аделин расстроено кривится – из всей стайки эта была ее любимицей. Она застыла с расправленными крыльями в момент первого взмаха. Аделин приседает подобрать птичку с пола, но когда выпрямляется, осколки уже исчезают, а игрушка на ее ладони снова цела. От удивления Аделин едва не отшвыривает ее, не понимая, почему это кажется таким невозможным. Ее превратили в незнакомку. Она сама видела, как исчезла из памяти всех, кого знала и любила, скрылась, точно солнце за облаком, как растворялась каждая отметка, которую Аделин пыталась оставить.

Но с птицей все иначе.

Наверное, потому, что ее можно держать в руках. Или потому, что на какой-то миг это кажется благословением – исправлять повреждения, устранять ошибки, – а не просто еще одним свидетельством стирания ее личности. Неспособность оставить след.

Но пока Аделин не думает об этом. Позже она месяцами будет разгадывать тайну проклятия, запоминая его грани, изучая неприступную форму в поисках трещин.

А сейчас просто сжимает в ладонях целую птичку и радуется, что та невредима. Аделин хочет вернуть фигурку в стаю, но что-то ее останавливает. Возможно, нелепость момента. Наверное, она уже скучает по этой жизни, хоть и не собиралась по ней скучать, но все же прячет фигурку в карман, потом заставляет себя выйти за порог и спешит прочь от отчего дома. Шагает вдоль дороги мимо кривого тиса, за поворот и дальше, к окраине деревушки. И лишь оказавшись там, бросает взгляд назад. Позволяет себе последний раз посмотреть на озаренные солнцем деревья у опушки, их густую тень, что простирается вперед, а потом поворачивается спиной к лесу, к деревушке под названием Вийон и к жизни, которая больше ей не принадлежит, и пускается в путь.

XIV

30 июля 1714

Вийон-сюр-Сарт, Франция

Вийон исчезает, словно телега за поворотом. Деревья и холмы поглощают его крыши. Когда Аделин набирается смелости еще раз оглянуться, деревеньки уже нет.

Со вздохом она продолжает путь. Аделин морщится – ботинки Жоржа ей не подходят. Они велики чуть ли не вдвое. На бельевой веревке Аделин нашла чулки и зачихала в носки ботинок, чтобы подогнать размер. Однако через четыре часа ходьбы она уже чувствует, что ноги стертые и кожаные стельки стали липкими от крови. Проверять страшно, поэтому она просто продолжает путь.

Аделин решила отправиться в обнесенный стеной Ле Ман. Это самое дальнее расстояние, на которое ей доводилось путешествовать, однако никогда прежде она не совершала такой путь в одиночку.

Аделин знает, что мир куда больше, чем города, раскинувшиеся вдоль Сарта, но сейчас неспособна думать ни о чем, кроме дороги, убегаящей вдаль. Каждый сделанный ею шаг – шаг от Вийона, от жизни, которая ей уже не принадлежит.

«Ты хотела свободы», – шепчет голос у Аделин в голове.

Однако то не ее голос. Этот более глубокий и плавный, подбитый с изнанки атласом и древесным дымом.

Она обходит стороной деревни, фермы по краю полей. Иногда Аделин кажется, что она осталась одна в целом мире. Словно художник набросал пейзаж, а затем на что-то отвлекся.

Заслышав шум телеги, Аделин прячется в тени ближайшей роци, пока опасность не минует. Далеко от дороги или реки она уходить боится, но однажды сквозь ветки деревьев замечает румяные плоды, и живот у нее начинает ныть от голода.

Фруктовый сад.

Благословенная тень и прохлада... Сорвав с низкой ветки персик, Аделин жадно впиивается зубами в сладкий фрукт. Нутро сводит судорогой. Превозмогая боль, Аделин съедает в придачу грушу и пригоршню слив, черпает ладонью воду из колодца на краю сада и лишь потом с неохотой покидает временное убежище и возвращается в летнюю жару.

Подступают сумерки, удлиняются тени. Аделин наконец опускается на берег реки и снимает ботинки, желая осмотреть раны на ногах.

Однако их нет.

На чулках не видно крови. Пятки не стертые. Пройденные мили, усталость от долгой ходьбы по грунтовой дороге не оставили следов, хотя каждый шаг отзывался болью. Плечи не обгорели на солнце, несмотря на то, что Аделин чувствовала его жар. Живот просит чего-то более сытного, чем ворованные фрукты, но свет уже идет на убыль, на холмы ложится тьма, фонари не горят, и домов не видно.

Аделин настолько устала, что ей хочется свернуться клубочком прямо здесь, на берегу реки, и уснуть, но мошки, которые кружат над водой, так и впиваются ей в кожу. Поэтому она уходит в поле и ныряет в высокую траву, как поступала множество раз в детстве, когда хотела оказаться подальше от дома. Трава скрывала дом, мастерскую, крыши Вийона, и оставалось лишь чистое небо над головой, а уж оно-то могло быть где угодно.

Глядя в мраморные сумерки, Аделин тоскует по дому. Не по Роже или будущему, которого для себя не желала, а по твердой хватке Эстель на своей руке, когда старуха учила ее подвязывать малину, по спокойному рокоту отцовского голоса, пока тот работал в мастерской, по запаху смолы и древесной пыли. Кусочки жизни, с которыми Аделин не хотела расставаться. Она запускает руку в карман, ища деревянную птичку. Раньше Аделин запрещала себе трогать

игрушку, почти уверившись, что ее там больше нет. Что кража, как и все поступки Аделин, была отменена. Но деревянная фигурка, гладкая и теплая, все еще на месте. Аделин достает ее из кармана, поднимает к небу и удивленно рассматривает.

Сломать статуэтку у нее не вышло. Зато вышло украсть.

Среди огромного списка запретов – невозможность написать или произнести собственное имя, оставить след, – это первое, что у нее получилось. Воровство. Пройдет много времени, и Аделин выяснит, как далеко простираются пределы ее проклятия, а еще позже научится понимать чувство юмора мрака. За бокалом вина он посмотрит на нее и заметит между делом, что успешная кража – безликий акт. Не оставляющий следов.

Но пока она просто радуется, что обзавелась талисманом.

«Меня зовут Аделин Ларю, – твердит она себе, сжимая деревянную птичку. – Я родилась в Вийоне, в тысяча шестьсот девяносто первом году, в семье Жана и Марты, в каменном доме позади старого тиса».

Аделин рассказывает историю своей жизни маленькой статуэтке, словно боится забыть себя так же легко, как другие. Она пока не подозревает, что отныне ее разум – безупречная клетка, а память – идеальная ловушка. Аделин никогда ничего не забудет, как бы ни хотела.

Ночь приближается, и пурпур заката сменяется чернотой. Аделин смотрит во тьму, и ей кажется, тьма смотрит на нее в ответ – тот бог или демон с безжалостным взглядом и насмешливой улыбкой. Черты исказились – таким она его никогда не рисовала.

Аделин вытягивает шею рассмотреть получше, и ей грезится, что звезды складываются в линии лица, скулы и лоб. Иллюзия очень четкая; Аделин чудится, что ночное покрывало вот-вот пойдет рябью, словно тени в лесу Вийона, и пространство между звездами треснет, явив изумрудные глаза.

Аделин прикусывает язык, чтобы не позвать его, вдруг отзовется кто-то другой. В конце концов, она уже не в Вийоне. Неизвестно, какие боги околачиваются здесь.

Позже она утратит силу воли. Впереди много ночей, когда отчаяние лишит ее страха, и Аделин будет кричать, ругаться, пытаясь заставить его встретиться с ней лицом к лицу. Все это произойдет позже.

Сейчас она слишком устала, проголодалась и не желает тратить остатки сил на богов, которые не удосужатся ответить. Аделин сворачивается клубочком, замуривает глаза и ждет, когда придет сон. И вспоминает факелы в поле за лесом и голоса, что выкрикивали ее имя.

Аделин, Аделин, Аделин...

Слова ударяются о ее тело, барабанят по коже дождем.

Чуть позже Аделин, вздрогнув, просыпается. Весь мир точно залит черными чернилами, ливень – внезапный и очень сильный – насквозь промочил ей платье.

Аделин вскакивает и, подобрав юбки, мчится через поле к ближайшей роще. Дома она любила слушать, как дождь стучит по окнам. Лежала без сна и представляла, как умывается мир. Но здесь нет ни кровати, ни крыши над головой. От ливня Аделин замерзла. Она изо всех сил отжимает подол и забивается в корни дерева, дрожа под пологом листвы.

«Я – Аделин Ларю, – твердит она себе. – Отец научил меня мечтать, мать – быть хорошей женой, а Эстель – разговаривать с богами».

Аделин вспоминает, как старуха стояла под дождем, раскинув руки, словно пыталась поймать бурю. Эстель, которая любой компании предпочитала одиночество. Скорее всего, оставшись одна во всем мире, она бы только обрадовалась.

Аделин силится представить, что сказала бы старуха, увидь она ее сейчас. Однако каждый раз, пытаясь вызывать в памяти колючий взгляд и хранящий тайны рот, видит лишь то, как Эстель смотрела на нее в последнюю встречу. Как нахмурилось ее лицо, а потом прояснилось, и целая жизнь была стерта, точно слеза.

Нет уж, лучше об Эстель не думать.

Аделин обнимает колени и старается заснуть еще раз, а когда снова пробуждается, сквозь ветки дерева льется солнечный свет. Неподалеку на поросшей мхом земле сидит зяблик и клюет подол ее платья.

Спугнув птицу, Аделин сует руку в карман, проверяя, на месте ли статуэтка, а потом поднимается на ноги, покачиваясь от голода – за полтора дня она съела лишь пригоршню фруктов.

«Меня зовут Аделин Ларю», – повторяет она, возвращаясь к дороге. Слова стали для нее своего рода заклинанием, они помогают скоротать время, и Аделин твердит их вновь и вновь.

Дорога поворачивает, и Аделин застывает как вкопанная, быстро-быстро моргая, словно солнце светит ей в глаза. Весь мир залит ярко-желтым, на зелень полей точно набросили покрывало цвета яичного желтка. Аделин оборачивается, но позади царствуют такие же зеленые и коричневые краски, как прежде, – обычные оттенки лета. Поле, что раскинулось перед ней, засажено горчичным зерном, хотя пока она этого еще не знает. Для Аделин вид просто неотразим. Она любит его и на миг забывает о голоде, ноющих ногах, внезапной потере, дивясь ошеломляющей яркости и всепоглощающему цвету.

Аделин пробирается полем, и бутоны гладят ее по рукам. Она не боится растоптать посадки – за ее спиной те сразу же выпрямляются, скрывая следы. Доходит до края поля и тропинки, которая ныряет в спокойную зелень, что кажется Аделин тусклой, и ищет взглядом новый источник чудес.

Вскоре после этого она подходит к деревне покрупнее и уже хочет обойти ее стороной, но тут в воздухе разливается запах, от которого у Аделин начинает болеть живот. Масло и дрожжи, сладкий и душистый аромат хлеба.

Платье Аделин словно свалилось с веревки – все мятое и грязное, волосы всклокочены, но она слишком голодна, ей плевать. Влекомая запахом, Аделин устремляется между домами вверх по узкой улочке к деревенской площади.

Аромат выпечки густеет, а вместе с ним становятся слышны голоса. Аделин заворачивает за угол. Вокруг господской печи⁶ на каменных скамейках сидят несколько женщин. Они смеются и болтают, словно птицы на веточке, пока в зеве печки поднимаются буханки. Вид крестьянок – до боли обыденный – раздражает. Аделин на миг медлит в тени переулка, прислушиваясь к щебету, но потом голод толкает ее вперед.

Ей нет нужды рыться в карманах – она и без того знает, что монет не найдет. Хлеб можно на что-нибудь выменять, но, увы, все имущество Аделин составляет деревянная птица. Она нащупывает в складках юбки гладкое дерево и понимает, что не в силах разжать пальцы. Выпросить бы... Перед глазами Аделин встает презрительно скривившееся лицо матери.

Остается лишь украсть. Разумеется, так нельзя, однако Аделин слишком голодна, чтобы раздумывать, насколько велик сей грех. Ничего не важно, кроме голода.

Вряд ли печь кто-то охраняет, однако Аделин – как бы быстро она ни стиралась из памяти людей – все еще существо из плоти и крови, а не привидение. Нельзя просто подойти и взять хлеб, тут же поднимется шум. Разумеется, очень быстро о ней забудут, но до тех пор ей угрожает опасность. Может, схватить хлеб и умчаться прочь... Но сколько придется бежать и как быстро?

И вдруг раздается мягкий всхрап, едва различимый среди болтовни женщин. Обойдя каменную хижину, за углом, на той стороне переулка, Аделин замечает свой шанс на спасение. В тени у забора рядом с мешком яблок и грудой щепок на растопку лениво пережевывает жвачку мул. Всего один резкий шлепок, и мул вздрагивает – больше от неожиданности, чем от боли, – а потом рвется вперед, разбрасывая яблоки и щепки. Воцаряется небольшой, но шум-

⁶ В XVIII веке во Франции сеньор обладал монопольным правом (т. н. баналитет) на мельницу, печь и виноградный пресс. Крестьяне были обязаны молоть зерно только на его мельнице, печь хлеб в его печи и давить виноград на его прессе, платя за пользование продуктами или деньгами.

ный переполох, мул с мешком зерна, притороченным к седлу, бросается прочь. Крестьянкам уже не до смеха, они вскакивают с тревожными криками.

Аделин тенью скользит к печке, выхватывая из открытого зева ближайшую буханку. Обжигает пальцы, чуть не уронив хлеб, но голод сильнее боли, а та, как уже известно Аделин, недолговечна.

К тому времени, как мул водворен на место, яблоки и щепки собраны, а женщины вернулись к печи, Аделин с буханкой уже далеко.

На окраине деревни, в тени конюшни, Аделин впивается зубами в непропеченный хлеб. Тесто липкое и сладкое, глотается с трудом, но ей все равно. Зато это сытно и заглушает голод. Разум понемногу проясняется. Напряженные плечи расслабляются, и впервые с тех пор, как Аделин покинула Вийон, она чувствует себя почти человеком. Оттолкнувшись от стены конюшни, она снова пускается в путь, следуя за солнцем и рекой к Ле Ману.

«Меня зовут Аделин», – снова начинает она, но вдруг осекается. Аделин никогда не любила свое имя, а теперь и вовсе лишилась способности его произносить. Как ни назови себя – это останется только у нее в голове. Аделин – та женщина, которая осталась в Вийоне накануне нежеланной свадьбы. А вот Адди – подарок Эстель. Короткое, яркое! Подходящее имя для девушки, которая ездила на рынок и старалась заглянуть за горизонт, рисовала и мечтала о больших свершениях, грандиозных мирах, жизни, полной приключений.

Итак, она начинает заново:

Меня зовут Адди Ларю...

XV

11 марта 2014

Нью-Йорк

Без Джеймса здесь слишком тихо. Адди он никогда не казался шумным – очаровательным, да, веселым, но не шумным. Теперь-то ясно, насколько Джеймс заполнял собой пространство.

В ту ночь он поставил пластинку и подпевал, поджаривая на большой печи с шестью конфорками сыр, которые они позже ели стоя, потому что квартира была новой и стульев Джеймс еще не купил. Кухонных стульев по-прежнему нет, как и владельца квартиры – он пропадает где-то на съемочной площадке.

Для одного человека дом слишком большой и тихий. Высота и двойное остекление блокируют звуки города, и Манхэттен за окном кажется серой неподвижной картиной.

Адди включает пластинку за пластинкой, но музыка лишь эхом разносится по дому. Пытается посмотреть телевизор, но заунывное бормотание новостей звучит словно помехи, как и металлический хор голосов на радио. Всего этого недостаточно, чтобы ощутить себя настоящей.

Снаружи – застывшее серое небо, здания скрыты пеленой дождя. В такие дни хорошо посидеть у камина с чашкой чая и увлекательной книгой, но в квартире Джеймса кроме газовой плиты разжечь нечего. Адди ищет в кухонном шкафу любимый сорт чая, но находит лишь пустую коробку у задней стенки; все книги в этом доме – исторические монографии, а не художественное чтиво. И Адди не хочется торчать здесь весь день наедине с собой.

Она опять натягивает собственную одежду, расправляет одеяло на кровати, хоть знает наверняка, что уборщицы придут раньше хозяина. Бросив последний взгляд в окно на безотрадную картину, крадет с полки шкафа шарф – мягкий кашемир в клетку, у которого еще даже не оборваны бирки, – а потом со звонким щелчком захлопывает за собой дверь.

Адди бредет по улице, поначалу не зная, куда. Порой она чувствует себя львом, который мерит шагами клетку. Но ее ноги живут своей жизнью, и вскоре они несут Адди дальше в центр.

«Меня зовут Адди Ларю», – думает она на ходу.

Триста лет прошло, а Адди все еще в глубине души боится забыть. Бывали и такие времена, когда ей хотелось, чтобы память ее подвела. В ту пору Адди отдала бы все, лишь бы поддаться безумию и раствориться в нем. Забыться – более милосердный путь.

Как Питер Пэн в книге Джеймса Барри. В самом конце он сидит на камне, и воспоминания о Венди Дарлинг стираются из его памяти. Забывать – грустно. Но тому, кого забыли, очень одиноко. Он помнит то, что забыли остальные.

«Я помню», – шепчет мрак.

Почти ласково – словно никакого проклятия на нее не насылал.

Плохая погода, а может, сентиментальное настроение, ведет Адди вверх по восточной окраине Центрального парка, к Восемьдесят второй, в гранитные залы музея Метрополитен.

Музеи Адди всегда любила. Пространства, где история перемешана, искусство выстроено по ранжиру, а экспонаты покоятся на пьедесталах или висят на стенах над маленькими белыми пояснительными табличками. Адди иногда чувствует себя музеем, у которого лишь один посетитель – она сама.

Адди пересекает большой зал, минует каменные арки и колоннаду, путь ее лежит через сотни раз виденные экспонаты греко-римской эпохи и Океании, через зал европейской скульптуры и искусства с его величественными мраморными статуями.

Еще одна галерея, и Адди находит то, что искала. На прежнем месте, где и всегда, – в стеклянной витрине, растянувшейся вдоль стены. По обеим сторонам от нужного экспоната

– фигуры из железа или серебра. Сама композиция невелика, длиной всего с руку от локтя до кончиков пальцев. На деревянном постаменте примостились пять мраморных птичек. Все они готовятся взлететь. Взгляд Адди притягивает последняя: изгиб ее клюва, угол наклона крыльев, пушистые перышки когда-то были запечатлены в дереве, а теперь живут в камне.

Скульптура называется «Revenir». Вернуться.

Впервые обнаружив эту работу, Адди дивилась на нее, как на маленькое чудо, установленное на белом оструганном блоке. Она никогда не встречала Арло Мире, автора, и все же он каким-то образом воплотил частичку ее истории, ее прошлое. Нашел и превратил в нечто запоминающееся, прекрасное произведение искусства.

Адди хочется коснуться маленькой фигурки, погладить, как прежде, крылышки... Пусть это не та, что потерялась, ее вырезали не сильные руки отца, а незнакомец, однако птичка существует, она настоящая и в каком-то смысле принадлежит Адди.

Секрет сохранен. Свидетельство сделано. Первый след, что она оставила в мире задолго до того, как узнала правду: идеи куда сильнее воспоминаний, они всегда стремятся прорасти и ищут способ пустить корни.

XVI

31 июля 1714

Ле Ман, Франция

В полях дремлющим исполином раскинулся вдоль Сарта город Ле Ман. Минуло больше десяти лет с тех пор, как Адди позволили отправиться с отцом на ярмарку.

Она проходит в городские ворота, и сердце пускается вскачь. На сей раз Адди без отца, лошади и повозки, но в сумерках город кажется таким же шумным и оживленным, как ей и запомнилось.

Она не пытается смешаться с народом. Если время от времени кто и бросает взгляд в сторону молодой женщины в перепачканном белом платье, то помалкивает. Одиночке легче в толпе.

Вот только куда ей податься? На мгновение Адди замедляет шаг, чтобы поразмыслить, но вдруг совсем рядом раздается грохот копыт, и ее едва не сбивает телега.

– Прочь с дороги! – кричит возница.

Адди бросается назад, толкнув женщину, которая несет корзину с грушами. Несколько плодов падают на мостовую.

– Смотри, куда прешь, – сердито брюзжит торговка.

Адди хочет помочь ей поднять упавшие груши, но та хрипло вскрикивает и топает ногами, стараясь отдавить девушке пальцы. Отшатнувшись, Адди прячет руки в карманы, сжимает в кулаке деревянную птичку, продолжая путь по извилистым улочкам к центру Ле Мана. Улиц много, но все похоже одна на другую.

Адди думала, в городе будет лучше, но, очутившись здесь, лишь еще больше растерялась. Слишком много она о нем нафантазировала. В прошлый раз Ле Ман показался ей чудом, грандиозным и живым. Ей помнился залитый солнцем шумный рынок, громкие голоса, эхом отражающиеся от каменных стен... Неприглядную сторону города заслоняли широкие плечи отца.

Теперь ей повсюду чудится опасность: словно туман, она стерла жизнерадостное очарование, оставив лишь острые грани, что выступают сквозь дымку. Один город сменился другим.

Как палимпсест⁷.

Пока это слово ей незнакомо, но пятьдесят лет спустя Адди услышит его в парижском салоне. Мысль о том, что прошлое вымарано, переписано настоящим, напомнит ей об этом дне в Ле Мане.

Город одновременно знаком ей и незнаком. Глупо было рассчитывать, что он останется прежним, когда изменилось все остальное. Когда изменилась сама Адди, превратилась из девушки в женщину, а затем в призрак, в тень.

Адди тяжело сглатывает и выпрямляется, твердо решив держать себя в руках.

Но где же гостиница, в которой они с отцом останавливались на ночь? Впрочем, если и удастся ее отыскать, делать Адди там нечего. Заплатить за ночлег нечем, и даже будь у нее деньги, никто не сдал бы комнату женщине, которая путешествует в одиночку. Ле Ман не настолько большой город, чтобы подобное происшествие ускользнуло от внимания лендлорда.

Адди крепче сжимает деревянную фигурку в кармане юбки и шагает дальше. Прямо за ратушей раскинулся рынок, но он уже закрывается – опустели прилавки, разъезжаются повозки. Лишь обрывки салата да заплесневелый картофель валяются под ногами. Только Адди задумалась, не подобрать ли отбросы, как их расхватывают другие руки – поменьше и пошустрее.

⁷ Рукопись, написанная на пергаменте, поверх смытого или соскобленного текста.

На краю площади примостился трактир. С лошади, серой в яблоках кобылы, спешивается заезжий гость. Поводья он бросает конюху, а сам устремляется на шум и гам, что доносится из открытых дверей. Конюх же ведет кобылу через дорогу, к приземистому сараю и скрывается в его нутре. Но внимание Адди приковывают не сарай и лошадь, а вьюки, перекинутые через ее спину. Пара туго набитых тяжелых мешков.

Перебежав через площадь, Адди ныряет в конюшню вслед за кобылой и парнем, стараясь ступать как можно тише. Сквозь балки крепкой крыши слабо струятся солнечные лучи, создавая мягкий контраст – несколько бликов в многослойных тенях. Адди была бы не прочь запечатлеть на бумаге эту картину.

В денниках топчутся с десятков лошадей. Мурлыча под нос какой-то мотив, всклокоченный конюх снимает с кобылы сбрую, водружает седло на деревянную перегородку, а затем начинает чистить шерсть лошади.

Пригнувшись пониже, Адди крадется к задним стойлам, где на перегородках висят мешки, седельные сумки и попоны. Она жадно обшаривает карманы под клапанами и пряжками. Кошельков нет, однако Адди натывается на тяжелое пальто для верховой езды, бурдюк с вином и костяной нож длиной с ее ладонь. Пальто она набрасывает на плечи, нож сует в один глубокий карман, вино – в другой и тихо, как мышка, ползет к выходу.

Пустого ведра Адди не замечает, пока не натывается на него. Раздается звон, и ведро с глухим стуком падает на сено. Адди замирает, надеясь, что за перестуком копыт конюх ничего не расслышит, но тот перестает напевать. Она скрючивается, прячась в тени перегородки. Проходит пять секунд, десять, и наконец пение возобновляется.

Выпрямившись, Адди крадется к последнему стойлу, где жует зерно крупная упряжная лошадь. На перегородке висит седельная сумка, к которой и тянется Адди.

– Что это ты делаешь? – Голос раздается слишком близко, прямо позади нее.

Конюх больше не поет, не причесывает шерсть серой в яблоках кобылы, а стоит в проходе с хлыстом в руке.

– Простите, – едва дыша извиняется Адди, – я ищу отцовскую лошадь. Он просил принести кое-что из сумки.

Конюх, не моргая, разглядывает незваную гостью. Его лицо наполовину скрывают темные растрепанные волосы.

– Которая же ваша?

Нужно было внимательнее изучать не только поклажу, но и коней. Колебаться нельзя – обман выйдет наружу, поэтому Адди решительно поворачивается к рабочей кобыле.

– Вот эта!

Ложь могла бы легко сойти за правду, выбери Адди другую лошадь. Конюх мрачно улыбается в бороду.

– Неужели? – удивляется он, постукивая хлыстом по ладони. – Понимаешь, в чем дело, эта – моя.

Внезапно Адди до тошноты хочется рассмеяться.

– Позвольте выбрать еще раз? – просит она, медленно пятясь к выходу.

Где-то поблизости ржет конь, а другой бьет в пол копытом. Адди бросается в сторону. Конюх прекращает поигрывать хлыстом, разворачивается и кидается к ней. Двигается он ловко, по-видимому благодаря профессии, но Адди легче и ей есть что терять. Конюх лишь задевает воротник краденого пальто, но схватить не успевает. Он спотыкается, и Адди почти удается сбежать, но вдруг звонко брякает колокольчик, и раздается звук тяжелых шагов.

Адди уже почти у самого выхода, но улизнуть ей не дает второй мужчина, чья широкая тень заслоняет дверной проем.

– Никак кобыла вырвалась? – кричит он и наконец замечает девушку в ворованном пальто и в ботинках не по размеру с прилипшим к ним сеном.

Отшатнувшись от него, Адди попадает прямо в объятия конюха. Тяжелые словно кандалы руки ложатся ей плечи, она старается вывернуться, но он сжимает ее крепко, до синяков.

– Я тут воровку сцапал, – ухмыляется конюх, царапая ее щеку грубой щетиной.

– Отпустите меня, – умоляет Адди.

Но он только крепче прижимает ее к себе.

– Девчонка-то не с рынка, – усмехается второй, вытаскивая из-за пояса нож. – Знаешь, что делают с ворами?

– Я просто ошиблась! Пожалуйста, отпустите...

– Плати – отпущу! – Он грозит ей ножом.

– У меня нет денег.

– Не беда, – незнакомец придвигается ближе, – воровки платят телом.

Она пытается вырваться, но руки крепко сжаты чужими руками, лезвие пересчитывает шнуровку на платье, словно перебирает струны. Адди снова изворачивается, но не для того, чтобы освободиться, а чтобы дотянуться к карману ворованного пальто за ножом. Пальцы дважды мажут по костяной рукоятке, прежде чем удается за нее ухватиться.

Отведя клинок, Адди бьет им в ногу конюха, лезвие вонзается в плоть. Тот вопит и швыряет ее, словно ужалившую осу, прямо на нож второго мужчины.

Плечо пронзает боль. Клинок скользит по ключице, оставляя обжигающий след. Адди готова лишиться чувств, но ноги сами несут ее к выходу. Очутившись на площади, она бросается за бочку, прячась от преследователей. Спотыкаясь и проклиная ее, они выходят из сарая. Лица у них перекошены яростью и даже хуже того – каким-то первобытным голодом. Но буквально на ходу они замедляют шаг. Их решительность ослабевает, цель ускользает, и мысль, что нужно кого-то догнать, кажется странной. Мужчины озираются, а потом с недоумением смотрят друг на друга. Раненый выпрямился, на его брюках нет ни разрыва, ни крови. След, что Адди оставила на нем, исчез.

Они пихают друг друга, обмениваются шуточками, разворачиваются и уходят обратно в сарай. От облегчения Адди тяжело падает вперед, утыкаясь головой в бочку. Грудь ломит от боли, ключицу жжет – Адди прижимает ладонь к ране, и пальцы окрашиваются красным.

Дальше продолжать сидеть, скрючившись за бочкой, нельзя. Адди заставляет себя подняться. Она стоит, покачиваясь и борясь с дурнотой, но вскоре слабость проходит, а ноги все еще ее держат. Адди делает шаг, другой, прижав одну руку к плечу, второй крепко сжимая нож под полой краденого пальто.

Покинуть Ле Ман она решается не сразу. Адди пересекает двор, стараясь быстрее убраться прочь от конюшни, и вскоре уже спешит извилистыми улочками мимо грязных гостиниц и таверн, гула голосов и хриплого смеха, с каждым шагом оставляя город позади.

Боль в плече из жгучего жара превращается в тупую пульсацию, а затем и вовсе исчезает. Адди трогает рану, но той больше нет. Как и крови на платье, как и слов, что она пыталась нацарапать на прощание отцу, как линий, начертанных на илистом берегу Сарта.

Осталась лишь корка засохшей крови на ключице и красновато-бурое пятно на ладони. На мгновение Адди невольно удивляется этой странной магии. Свидетельству того, что в каком-то смысле мрак сдержал слово. Правда, извратил все, и ее желание стало неправильным, каким-то мерзким. Однако он даровал ей Жизнь.

Адди негромко стонет. В этом безумном звуке – облегчение и в каком-то смысле ужас. Она страшится голода, который недавно для себя открыла. Рези в ногах, хотя те не изранены и не покрыты синяками. Боли в плече, хотя царапина затянулась. Мрак, возможно, и освободил ее от смерти – но отнюдь не от страданий.

Пройдут годы, прежде чем она в полной мере познает значение этого слова, но пока Адди просто радуется, что жива.

В сгущающихся сумерках она подходит к окраине города, и облегчение тает. Так далеко Аделин ни разу не заходила.

Очертания Ле Мана остались позади, высокие каменные стены сменились деревушками, разбросанными вдоль дороги, как рощицы, за ними чистое поле, а что дальше – Адди не знает.

В детстве она часто карабкалась по холмам, что окружали Вийон, подбиралась к самому краю, где склон обрывался вниз, и замирала с колотящимся сердцем, подавшись вперед. Малейший толчок – и остальное твой вес сделает сам.

И хоть сейчас она не стоит над пропастью, все же чувствует, что теряет равновесие.

Но вдруг во тьме раздается голос Эстель.

«Как дойти до края света?» – спросила она однажды. Адди не ответила, и тогда старуха ухмыльнулась морщинистым ртом и сказала: – «По шажочку».

На край света Адди не собирается, но куда-то идти нужно. И в этот самый миг Адди понимает, куда пойдет.

Она отправится в Париж.

Адди и знает-то всего два города – Ле Ман и Париж. Это название множество раз проносили губы ее незнакомца, отец упоминал этот город в каждой сказке. Столица королей и богов, золота, величия и обещаний.

«Вот как начинается история», – сказал бы отец, увидь он ее сейчас.

Она делает первый шаг, и земля летит навстречу, но на сей раз Адди удается удержаться на ногах.

XVII

12 марта 2014

Нью-Йорк

День просто замечательный.

Солнце взошло, и воздух прогрелся. В таком большом городе, как Нью-Йорк, столько прекрасного – еда, искусство, множество культурных развлечений. Но больше всего Адди нравится его масштаб. Маленькие города и деревушки легко исходить вдоль и поперек. За неделю запросто обойдешь весь Вийон, изучишь каждую тропинку, запомнишь в лицо всех жителей. Но в Париже, Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке нет необходимости продвигаться маленькими шагами и откусывать по чуть-чуть, чтобы сохранить новизну. Их можно пожирать жадно, от души, глотать каждый день и ночь, и пища никогда не закончится. Броди здесь годами – всегда останется новый переулочек, новая лесенка, новая дверь.

Наверное, поэтому Адди раньше его не замечала.

Если спуститься по ступенькам, обнаружится полускрытый тротуаром магазинчик. Козырек когда-то был фиолетовым, но давно выцвел до серого, хотя название, выделенное белыми буквами, все еще читается отчетливо.

«Последнее слово».

Судя по вывеске – букинистический магазин, витрина которого пестрит корешками. У Адди слегка частит пульс. Она была уверена, что отыскала их все, но в том и заключается прелесть Нью-Йорка. Адди обошла существенную часть его пяти районов, и все же у города остались секреты. Некоторые спрятаны в тайных уголках – подвальные бары, подпольные заведения, клубы только для своих, – а другие находятся на виду. Словно пасхалки в кино, которые замечаешь, лишь посмотрев фильм пару-тройку раз. И дело не только в пасхалках: сколько бы Адди ни бродила по этим кварталам, сколько бы ни тратила часов, дней или лет на изучение Нью-Йорка, как только она поворачивается спиной, все будто тут же меняется. Одни здания растут, другие уменьшаются, закрываются и открываются магазины, приходят и уходят люди, колода сама по себе тасуется вновь и вновь.

Разумеется, Адди не упускает возможность зайти. Негромкий звон колокольчика оповещает о прибытии покупателя, однако звук приглушают кипы разномастных томов. Некоторые книжные магазины больше похожи на выставочные галереи, другие стерильны, предназначены лишь для новых нетронутых книг. Но не этот. Здесь внутри – лабиринты стеллажей и груды фолиантов, нагромождения в два-три ряда, бумажные переплеты соседствуют с кожаными и картонными. В таких магазинах легко затеряться. Адди их обожает.

У двери – касса, но за ней никого. Адди спокойно бродит по проходам, роясь на приглянувшихся полках. Покупателей почти нет, кроме белого старика, изучающего триллеры, и потрясающей чернокожей девушки, которая, скрестив ноги, сидит в кожаном кресле в дальнем конце магазина. В ушах и на пальцах у нее сверкает серебро, на коленях – огромный художественный альбом.

Проходя мимо отдела с надписью «Поэзия», Адди кожей ощущает дуновение мрака. По голому плечу скользят острые, точно лезвие, зубы.

Приди, любимая моя!

С тобой вкушу блаженство я⁸.

Ответ Адди почти затерт от постоянных повторений:

Откуда тебе знать, что такое любовь⁹.

⁸ Марлоу Кристофер. Страстный пастух / пер. Н. Жданова.

⁹ Строка из песни «You Don't Know What Love Is», которую исполняли многие популярные американские певцы.

Она не задерживается, поворачивает за угол, погладив надпись «Теология». Примерно сто лет назад Адди ударила в своего рода духовное пьянство и прочитала Библию, Упанишады и Коран. Шекспира с его собственной религией она тоже оставляет позади.

В «Мемуарах» Адди останавливается. Изучает названия на корешках – так много «Мои...», «Мое...», «Я – ...». Собственнические слова для описания собственных жизней...

Какая роскошь – поведать свою историю. Чтобы ее прочли и запомнили.

Что-то задевает руку, Адди смотрит вниз и встречается с парой янтарных глаз. Кот – комок пушистого рыжего меха, такой же старый, как книга у нее в руках, – заглядывает ей через плечо. Он открывает рот и издает какой-то глухой свистящий звук – то ли мяукает, то ли зевает.

– Привет. – Она почесывает кота между ушами, и тот негромко мурлычет от удовольствия.

– Ничего себе, – произносит мужской голос. – Томик обычно не пристаёт к людям.

Адди оборачивается, собираясь сказать что-нибудь умное насчет клички кота, но увидев, кто стоит позади, сбивается с мысли. Всего на мгновение, прежде чем успеваешь рассмотреть лицо говорящего, она думает, что это...

Но это не он. Разумеется, не он.

Черные волосы обрамляют лицо непослушными локонами. Цвет глаз за очками в массивной оправе скорее серый, а не зеленый. Да и взгляд какой-то уязвимый, а не жестокий, и голос мягкий, теплый, без сомнения человеческий.

– Вам помочь?

Адди качает головой.

– Нет, – откашлявшись, говорит она. – Я просто смотрю.

– Что ж, – с улыбкой отвечает продавец, – тогда не стану мешать.

Она наблюдает, как черная копна исчезает в лабиринте книжных корешков, а потом снова переводит взгляд на кота.

Но тот тоже скрылся.

Адди ставит книгу обратно на полку и опять принимается бродить по магазину, задержавшись в «Искусстве» и «Всемирной истории». Ей все кажется, парень вот-вот появится еще раз, и цикл повторится заново. Она раздумывает, что бы ему такого сказать. Нужно было попросить помощи, пусть бы он устроил ей экскурсию, однако продавец не возвращается.

Колокольчик звякает вновь, оповещая об очередном покупателе. Адди к тому времени уже в отделе «Классики». «Беовульф», «Антигона», «Одиссея»... Последняя представлена в десятках разнообразных изданий. Адди просто берет первую попавшуюся, и вдруг в тишине раздаётся взрыв звонкого смеха. Через щель в книгах видно юную блондинку, облокотившуюся на прилавок. По другую сторону стоит продавец и протирает полую рубашку очки. Голова склонена, темные ресницы подрагивают. На девушку, которая даже привстала на цыпочки, чтобы стать к нему поближе, он и не смотрит. Та легонько касается его рукава, как Адди минуту назад касалась книжных корешков, и продавец улыбается. Застенчивой тихой улыбкой, которая стирает последнее сходство с мраком.

Пользуясь тем, что он занят, Адди сует книгу под мышку и направляется к выходу.

– Эй! – окликает ее голос – его голос, но Адди продолжает подниматься по лестнице на улицу.

Миг – и она окажется на тротуаре, а парень ее забудет. Лишь миг – его разум умолкнет, и тогда...

На ее плечо опускается рука.

– Книги, вообще-то, денег стоят.

Адди оборачивается. Перед ней стоит юноша-продавец с запыхавшимся и слегка раздраженным видом. Адди смотрит мимо него на приоткрытую дверь магазина. Наверное, она не закрыла створку. Он должен был остаться за дверью и все же выскочил за ней наружу.

– Ну и?.. – требовательно вопрошает парень, убирая руку с плеча Адди и протягивая ее открытой ладонью вверх.

Конечно, можно сбежать, но дело того не стоит. Адди проверяет ценник на обороте книги. Недорого, но больше, чем она думала.

– Извини, – улыбается Адди, возвращая книгу.

На лбу парня собирается слишком глубокая для его лица морщина. Похоже, он хмурится слишком часто, хотя на вид ему нет и тридцати. Молодой человек опускает взгляд на книгу и удивленно приподнимает брови.

– В магазине полно антиквариата, а ты стащила «Одиссею» в мягкой обложке? За нее много не выручишь.

Адди выдерживает его прямой взгляд.

– Кто сказал, что я хочу ее перепродать?

– Ты хоть видела, что она на греческом?

А вот этого Адди даже не заметила. Впрочем, какая разница. Сначала она выучила классическую латынь, а несколько десятков лет спустя и греческий.

– Такая уж я идиотка, – сухо отвечает Адди. – Надо было воровать на английском.

Он почти – только почти – улыбается, но это отчего-то ее смущает.

– Забирай, – говорит юноша, протягивая ей томик, – мы не обеднеем.

Адди борется с желанием отпихнуть книгу обратно. Она не любит благотворительность.

– Генри, – выглядывает из дверей хорошенькая черная девушка, – звонить копам?

– Нет, – отвечает тот, не отрывая взгляда от Адди. Смотрит с прищуром, точно старается запомнить. – Все хорошо. Просто недоразумение.

Адди разглядывает юношу – Генри, – затем забирает книгу, крепко прижимает к себе, а он спускается обратно в магазин.

Часть вторая. Самый темный час



«Забытая ночь», Саманта Беннинг, 2014.

Акрил, холст, дерево.

Предоставлено «Лизетт прайс Гэллери» Нью-Йорк.

Черно-белое полотно с нанесенной послойно краской, рельефное изображение состоит из черного, угольного и серого цвета. На заднем плане выделяются семь маленьких белых точек.

Хотя картина известна и сама по себе, она служит фронтисписом для серии работ Беннинг под названием «Я смотрю на тебя», где автор изобразила членов семьи, друзей и любимых в образе неба.

Оценочная стоимость 11500 долларов.

I

12 марта 2014

Нью-Йорк

Генри Штраус возвращается в магазин.

Беа снова сидит в старом кожаном кресле, пристроив на коленях раскрытый альбом.

– Куда ты ходил?

Он хмуро оглядывается на дверь.

– Да так, никуда.

Пожав плечами, Беа снова принимается листать руководство по неоклассицизму, которое и не думает покупать.

Нашла библиотеку...

Генри вздыхает, возвращаясь за кассу.

– Прости, – говорит он девушке у прилавка. – Так о чем это мы?..

Та прикусывает губу. Кажется, ее зовут Эмили.

– Я собиралась пригласить тебя выпить.

Генри немного нервно смеется в ответ – привычка, от которой он уже и не надеется избавиться. Девушка красива, по-настоящему красива, но ее глаза неприятно блестят, в них горит знакомый льдистый огонек, и Генри с облегчением сообщает ей о планах на вечер, радуясь, что не нужно врать.

– Тогда как-нибудь потом, – улыбается она.

– Как-нибудь, – эхом отзывается Генри.

Эмили берет книгу и уходит.

Едва за ней закрывается дверь, как Беа многозначительно откашливается.

– Что? – спрашивает, не поворачиваясь, Генри.

– Мог бы спросить ее номер.

– Вообще-то у нас планы, – отвечает он, постукивая по прилавку билетами.

Беа встает с кресла, кожаная обивка негромко скрипит.

– Знаешь, – замечает подруга, кладя ему руки на плечи, – самое лучшее в планах то, что их всегда можно перенести на другой день.

Генри разворачивается и обнимает ее за талию. Они стоят, словно пара детей в мучительном школьном танце, их руки образуют широкий круг, точно ячейка сети или звено цепи.

– Беатрис Хелен, – укоризненно улыбается Генри.

– Генри Сэмюэл.

Двое молодых людей хорошо за двадцать обнимаются как малолетки. В другое время Беа надавила бы посильнее, принялась бы разглагольствовать о том, что необходимо найти кого-то (нового) и стать счастливым (опять). Но у них сделка: она не упоминает Табиту, а Генри помалкивает насчет профессора.

У каждого есть свои поверженные враги, свои боевые шрамы.

– Извините, – говорит подошедший старик-покупатель.

Похоже, ему искренне жаль их прерывать. В руках у него книга. Генри улыбается, разрывает объятия и ныряет за стойку пробить товар.

Беа забирает свой билет, бросив напоследок, что будет ждать приятеля на шоу. Генри кивает в ответ. Старик тоже уходит, а после остальные посетители сливаются в неразличимое/размытое пятно.

Без пяти шесть Генри переворачивает табличку и закрывает магазин. «Последнее слово» ему не принадлежит, но с таким же успехом он мог быть его хозяином. Генри уже давно не видел настоящую владелицу, Маргарет. Та проводит свои золотые годы, путешествуя по миру

на деньги, полученные по страховке покойного мужа. Осенняя женщина наслаждается второй весной.

Генри насыпает в небольшую красную миску под прилавком пригоршню корма для Томика, местного старого кота. И тут же взъерошенная кошачья голова высовывается из-за корешков в отделе поэзии. Кот сутками дремлет среди книг. Его присутствие заметно лишь по опустевшей миске да прерывистым вздохам покупателей, когда те ненароком встречаются с парой немигающих янтарных глаз, следящих за ними с полки.

Томик – единственное существо в букинистическом, которое обитает здесь дольше Генри. А тот служит в магазине последние пять лет, начав еще в ту пору, когда был аспирантом теологического факультета. Сначала он просто выходил на неполный день, нуждаясь в прибавке к университетской стипендии, но потом учеба закончилась, а работа осталась.

Наверное, пора отыскать другую, оплата совсем дерьмовая. В конце концов, не зря же Генри двадцать один год получал дорогостоящее образование. В голове звучит голос Дэвида, его брата, – в точности такой же, как голос отца. Он спокойно интересуется, зачем ему нужна эта работа, неужели Генри и правда намерен провести так всю жизнь?

Но Генри не знает, чем хотел бы заняться. Не может заставить себя уйти, это единственное занятие, в котором он еще не облажался.

По правде говоря, Генри обожает магазин. Запах книг, их тяжесть на полках, привычные названия и новинки. В городе, подобном Нью-Йорку, поток читателей никогда не иссякнет. Беа уверена, что каждый работник книжного мечтает стать писателем. Но Генри не представлял себя в этой роли. Конечно, он пробовал писать, только ничего не получилось. Никак не находились слова, сюжет, тон. Генри не представлял, какую книгу мог бы добавить к миллионам уже написанных.

Он всегда предпочитал быть хранителем историй, а не рассказчиком.

Он гасит свет, берет билет, куртку и отправляется на шоу Робби.

* * *

Переодеваться уже некогда. Спектакль начинается в семь, а «Последнее слово» закрывается в шесть. К тому же Генри не знает, в чем полагается ходить в авангардистский театр в Бауэри¹⁰ на пьесу о волшебном царстве, поэтому остается в темных джинсах и рваном свитере. Беа называет это «библиотечным шиком», хотя Генри работает не в библиотеке – сей факт подруга, похоже, просто не в состоянии уразуметь.

Сама Беа выглядит, как обычно, до крайности модной в белом блейзере с закатанными до локтей рукавами, с тонкими серебряными кольцами на пальцах и в ушах, голову украшают скрученные в корону дреды.

Стоя в очереди ко входу, Генри задается вопросом: есть ли хоть у кого-то в мире врожденное чувство стиля, или им приходится каждый день усиленно наводить глянец.

Беа и Генри проходят вперед, показывая билеты. Шоу представляет собой причудливое сочетание театральной постановки и современного танца, что возможно лишь в городах, подобных Нью-Йорку. По словам Робби, спектакль поставили по мотивам «Сна в летнюю ночь», только шекспировский ритм сглажен, и насыщенность выкручена до предела.

Беа пихает Генри локтем.

– Видел, как она на тебя смотрела?

– Что? О ком ты? – недоуменно моргает он.

– Ты совершенно безнадежен, – закатывает глаза Беа.

¹⁰ Название улицы и прилегающего к ней одноименного района в Нью-Йорке. Известен недорогими гостиницами и барами.

В вестибюле царит суматоха, и они начинают пробиваться через толпу, но тут кто-то хватается Генри за руку – девушка в рваном богемном платье. На висках у нее распустился нарисованный зеленой краской плющ. Одна из актрис шоу. Множество раз за последние пару недель Генри видел остатки похожего грима на лице Робби.

В руках у актрисы кисть и миска с золотой краской.

– Эй, ты без рисунка, – бесхитростно заявляет она и легким касанием кисточки украшает его щеки золотистой пылью.

С такого близкого расстояния прекрасно заметно слабое мерцание в глазах девушки.

– Ну как я вам? – интересуется Генри, задирая подбородок и притворно надувая губы.

Он шутит, но на лице актрисы вспыхивает улыбка.

– Само совершенство.

От этих слов Генри охватывает дрожь, мгновенно перенося его в другое место. Темнота, и тяжелая рука на его шее, палец поглаживает щеку.

Генри трясет головой, прогоняя морок.

Беа позволяет девушке нарисовать у себя на носу блестящую полосу, поставить золотистую точку на подбородке и целых полминуты увлеченно с ней флиртует. Затем по фойе разносится звон колокольчиков, и актриса-фея исчезает в толпе.

Генри и Беа направляются к дверям зала.

Он протягивает руку подруге.

– Ты же не считаешь меня совершенством?

– Господи, конечно нет, – фыркает та.

И Генри невольно улыбается. Другой актер, темнокожий юноша с розовым золотом на щеках, предлагает зрителям по ветке. Для настоящего растения листья слишком зеленые. Его сияющий взгляд – добрый и грустный – задерживается на Генри.

Они показывают билеты контролеру – седой старухе едва ли пяти футов ростом. И та провожает их в зал, для равновесия схватившись за руку Генри. Она показывает им ряд и на прощанье похлопывает его по локтю, бормоча: «Хороший мальчик», а потом удаляется обратно по проходу.

Сверившись с номерами на билетах, они проходят на свои места – три кресла в центре ряда. Посередине Генри, рядом Беа, а с другой стороны пусто – там должна была быть Табита. Билеты купили несколько месяцев назад, когда они встречались и все еще было для них во множественном числе, а не в единственном.

Грудь Генри сдавливает тупая боль.

Сейчас он жалеет, что не потратил те десять баксов на выпивку. Гаснет свет, и поднимается занавес, открывая царство неона и стали, разукрашенное краской из баллончика. Посреди сцены на троне, развалившись, восседает Робби, копируя позу Дэвида Боуи в роли Короля гоблинов. Волосы уложены волной, лицо пересекают пурпурные и золотистые линии, превращая молодого человека в потрясающее и удивительное создание. Улыбка Робби навевает воспоминания о том, как Генри влюбился в него, когда им было по девятнадцать. Чувство, порожденное похотью, одиночеством и несбыточными мечтаниями.

Ясный голос Робби разносится по залу.

– Это история о богах, – провозглашает он.

На сцену выходят музыканты, начинают играть, и на какое-то время спектакль увлекает Генри. Мир вокруг исчезает, окружающие звуки стихают, и сам Генри растворяется в действе.

* * *

Но ближе к концу есть сцена, что проникает в самую глубь разума, засвечивая его, как лучи пленку.

Робби, король Бауэри, поднимается с трона. На подмостки сплошной стеной льется дождь. Еще мгновение назад на сцене кишели люди, но теперь остался лишь Робби. Он касается рукой водной завесы, и та рвется, омывая его пальцы, запястье, дюйм за дюймом продвигается дальше, в конце концов обрушиваясь на все тело. Робби запрокидывает голову, и дождь смывает с его кожи золото и блеск, расплющивает идеальную прическу, стирая все следы магии и превращая томного высокомерного принца в мальчика – смертного, уязвимого и одинокого.

Гаснет свет, и очень долго в театре слышен лишь шум воды. Стена ливня переходит в ровный ритм дождя, и вот уже по подмосткам тихо стучат капли. А потом, наконец, наступает тишина.

Свет загорается, актеры выходят на сцену, и зал принимается рукоплескать. Беа восторженно аплодирует, оглядываясь на Генри. Лицо ее озаряет радость.

– Что-то не так? – встревоженно спрашивает она. – У тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок свалишься.

Генри тяжело сглатывает, качая головой. В руке нарастает пульсация, и, опустив взгляд, он замечает, что впивается ногтями в шрам на ладони, откуда уже сочится кровь.

– Генри?

– Все нормально, – отвечает он, вытирая руку о бархатное кресло. – Спектакль просто потрясающий.

Генри поднимается и направляется за Беа к выходу.

Толпа тает, пока не остаются в основном члены семей и друзья актеров. Но Генри чувствует на себе чей-то взгляд, омывающий его как поток. Куда бы он ни посмотрел – повсюду дружелюбные лица, теплые улыбки, а иногда и нечто большее.

Наконец в вестибюль врывается Робби и обнимает Генри и Беа.

– Мои самые любимые поклонники! – восклицает он поставленным актерским голосом.

Генри фыркает, а Беа протягивает Робби шоколадную розу. Это их давняя шутка – как-то Робби пожаловался, что ему приходится выбирать между шоколадом и цветами, на что Беа сказала: «Нынче День святого Валентина, да и после спектаклей обычно принято дарить букеты», а Робби возразил, мол, он-то не обычный актер, а кроме того, вдруг он проголодается?

– Ты был великолепен, – говорит Генри, и это правда.

Робби прекрасен, всегда таким был. Он прекрасно танцует, поет и играет, у него есть все необходимые актерские качества, чтобы получить работу в Нью-Йорке. От Бродвея его отделяют несколько улиц, но Генри не сомневается, что друг вскоре окажется там.

Он запускает пятерню в волосы Робби. Когда те сухие, у них цвет жженого сахара, рыже-вато-бурый оттенок – нечто среднее между каштановым и красным, зависит от освещения. Однако сейчас пряди еще влажные после финальной сцены. На какой-то миг Робби тянется к руке Генри и опускает на нее голову. Тот напрягается, ему приходится напомнить себе, что все это ненастоящее, уже нет. Он похлопывает друга по спине, и Робби выпрямляется, словно оживая и обновляясь.

Затем поднимает розу высоко над головой, точно жезл, и объявляет:

– На вечеринку!

* * *

Раньше Генри думал, что вечеринки устраиваются только после последнего спектакля, для актеров это такой способ попрощаться, но потом узнал, что для театралов каждое выступление – повод для празднования. Снять возбуждение после сцены – или же, в случае приятелей Робби, продлить его. Почти в полночь они толпой набиваются в квартиру на третьем этаже в Сохо. Свет приглушен, в паре беспроводных динамиков звучит чей-то плейлист.

Актеры перемещаются по помещению, словно кровь, бегущая по венам. Лица все еще раскрашены, но костюмы сняты, отчего не сразу разберешь – сценические персонажи перед тобой или обычные люди.

Генри попивает теплое пиво и трет большим пальцем шрам на ладони. Этот жест быстро вошел в привычку.

Какое-то время компанию ему составляла Беа. Вообще-то она предпочитает званые ужины, а не театральные вечеринки, изысканную сервировку и застольные беседы ценит куда больше пошла в пластиковых стаканчиках и перекрикивания стерео. Товарищи по несчастью укрылись в углу, и Беа изучала актерскую мозаику, словно картинки в одной из книг по истории искусства.

А потом феечка из труппы унесла ее прочь. «Предательница!» – выкрикнул Генри ей вслед, хотя рад был снова видеть Беа счастливой.

Робби между тем танцует посреди комнаты – как всегда, в центре событий. Он зовет Генри к себе, но тот качает головой, игнорируя призыв. Легкое притяжение, распахнутые объятия, ожидающиеся, когда же ты в них упадешь. В былые времена они идеально совпадали. Различия были лишь в силе того самого притяжения. Робби всегда удавалось беспечно парить, тогда как Генри бросался в омут с головой.

– Эй, красавчик!

Генри отрывает взгляд от своего пива и видит одну из главных исполнительниц шоу – потрясающую девушку с ржаво-красными губами и в короне из белых лилий, на щеках – золотой блеск, нанесенный по трафарету. Он смотрится как граффити.

Она взирает на Генри с таким неприкрытым приглашением, что тот должен бы чувствовать себя желанным, ощутить что-то помимо грусти и одиночества.

– Выпей со мной...

Ее голубые глаза сияют. Она протягивает Генри небольшой поднос с парой шотов, где на дне растворяется что-то маленькое и белое. Потянувшись за напитком, Генри вспоминает все байки о том, что случилось с людьми, которые брали еду и питье у фейри. Он пьет и вначале чувствует лишь сладость и слабое жжение текилы, но потом мир начинает слегка размываться по краям.

Ему хочется, чтобы стало легче, зрение прояснилось, но комната темнеет, и Генри понимает – надвигается буря.

Первый приступ настиг его в двенадцать лет. Генри ничего подобного не ожидал. Только что синело небо, и вот уже хмурятся тучи, налетает ветер и хлещет дождь. Лишь годы спустя Генри начнет думать об этих тяжелых периодах как о бурях и верить, что, если только продержаться достаточно долго, они утихнут.

Родители, конечно, желали ему добра, но всегда твердили нечто вроде «не вешай нос», или «все наладится», или – еще хуже – «все не так уж плохо». Легко говорить, когда в твоей жизни дождливых дней никогда не было.

Дэвид, старший брат Генри, – врач, но и тот до конца не понимал. А вот Мюриэл, сестра, утверждала, что от подобных бурь страдают все творческие люди, и подсовывала ему таблетки из коробки для мятных пастилок, которые всегда носила в сумочке. Подражая языку Генри, она называла их «маленькими розовыми зонтиками», будто это всего лишь остроумная фраза, а не способ, которым брат пытался донести близким, что творится в его голове.

«Это просто буря», – снова говорит он себе и находит предлог выбраться на свежий воздух. На вечеринке слишком жарко, Генри хочет выйти наружу, залезть на крышу и убедиться, что на небе нет никаких туч, только звезды. Но, разумеется, там нет никаких звезд. Ведь это же Сохо.

Почти на полпути Генри останавливается и вспоминает шоу, вспоминает, как выглядел под дождем Робби. Задрожав, он решает не подниматься наверх, а спуститься на улицу и идти домой.

Уже почти у двери кто-то хватается за руку. Девушка с плющом, вьющимся на висках. Та самая, которая разрисовала его золотой краской.

– Это ты! – говорит она.

– А это ты, – отзывается он.

Она стирает золотистое пятнышко со щеки Генри, и его словно бьет током, электрической искрой там, где кожа касается кожи.

– Не уходи, – просит девушка.

Он старается придумать, что ответить, а она прижимается ближе. Тогда Генри целует ее – быстро и глубоко – и отстраняется, когда слышит, как она ахает.

– Извини, – бормочет он.

Дежурное слово, такое же, как «пожалуйста», «спасибо» или «со мной все в порядке».

Но фея тянется к нему и запускает пальцы ему в волосы.

– За что? – говорит она, снова принося к его рту губами.

– Ты уверена? – бормочет Генри, хоть и знает, что она ответит, ведь он уже заметил в ее глазах тот самый отблеск, светлую пленку, затянувшую взгляд. – Ты этого хочешь?

Ему нужно услышать правду, но правды для него больше не существует, а девушка просто улыбается и тянет его за собой к ближайшей двери.

– Именно этого, – говорит она, – я и хочу...

А потом они оказываются в одной из спален, дверь со щелчком захлопывается за ними, отрезая шум вечеринки, остаются лишь ее губы на его, а глаза в темноте больше не видны. Легко поверить, что все это правда.

И Генри на какое-то время исчезает.

II

12 марта 2014

Нью-Йорк

Адди шагает по городу, листая «Одиссею» при свете фонарей. Давно она не читала ничего на греческом, но стихотворный ритм поэмы затягивает ее в строфы старого языка. На подходе к Бакстеру Адди почти растворяется в образе корабля, бороздящего водную гладь, и мечтает о бокале вина и горячей ванне.

Но ей не грозит ни то, ни другое.

Она хорошо рассчитала время – или, наоборот, плохо, как посмотреть, – потому что заворачивает за угол Пятьдесят шестой, как раз когда к парадному входу подруливает черный седан и из него на тротуар выходит Джеймс Сент-Клер. Он вернулся со съемок – загорелый, кажется счастливым и в солнцезащитных очках, несмотря на поздний час.

Адди замедляет шаг и останавливается на другой стороне улицы, а привратник помогает Джеймсу выгрузить багаж и занести внутрь.

– Черт, – бормочет она себе под нос, распрощавшись с ночлегом.

Ни тебе ванны с пеной, ни бутылки мерло.

Вздыхнув, Адди шагает к перекрестку, пытаясь понять, что делать дальше.

Слева раскинулся Центральный парк, точно темно-зеленое покрывало в центре города.

Справа изломанной линией возвышается Манхэттен, квартал за кварталом от Мидтауна до Финансового.

Адди поворачивает направо, держа путь к Ист-Виллидж. В желудке урчит, и где-то на Второй авеню она замечает свой ужин. Парнишка останавливает велосипед у обочины, достает из ящика за сиденьем заказ и несет полиэтиленовый пакет к дому. Адди подкрадывается к велосипеду и заглядывает внутрь ящика. Судя по форме и размеру упаковки, края которой загнуты и скреплены металлическими зажимами, внутри – блюда китайской кухни. Не успевает мужчина у двери расплатиться, как Адди вытаскивает картонную коробку и пару палочек и смывается.

Прежде Адди стыдилась, что приходится воровать. Но чувство вины, как и многое другое, со временем исчезло. Голод ее не погубит, однако причиняет нешуточные страдания.

Адди шагает по авеню Си, набивая рот «Ло Мейном», ноги уверенно несут ее по Виллиджу к кирпичному зданию с зеленой дверью. Пустую коробку она бросает в урну на углу и оказывается у двери, как раз когда оттуда выходит мужчина. Адди улыбается ему, он отвечает тем же и придерживает для нее дверь.

По узким ступеням она поднимается на четыре пролета. Наверху – железная дверь. Адди общаривает пыльную дверную коробку в поисках маленького серебристого ключика. Это открытие она сделала прошлой осенью, когда они с Сэм ввалились сюда, сцепившись руками и ногами. Сэм прижалась губами к ямке у нее под подбородком, а перепачканные краской пальцы просунула под пояс джинсов.

Для Сэм это был на редкость импульсивный поступок.

Для Адди – второй месяц романа.

Страстного романа, ничего не скажешь, но только потому, что время для нее – непозволительная роскошь.

Конечно, Адди мечтает лениво проводить утро за чашечкой кофе, закидывать ноги на колени любимого человека, шутить так, чтобы было понятно только двоим, и смеяться. Но подобное приходит только с узнаванием друг друга. Для Адди и Сэм медленное развитие отношений, неспешно разгорающееся желание, близость, растущая день за днем, неделя за неде-

лей, месяц за месяцем, невозможна. Это не для них. Поэтому хоть Адди и скучает по утрам, но предпочитает ночи. Если не дано любви, можно хотя бы попытаться избежать одиночества.

Чуть-чуть поцарапавшись о металл, она нащупывает ключ и достает его из тайника. Ржавый замок открывается с третьей попытки – как и в ту, первую, ночь, – но наконец дверь все же распахивается, и Адди выходит наружу. Налетает ветер, она прячет руки в карманы кожаной куртки и пересекает крышу.

Наверху пусто, всю меблировку составляют лишь три в разной степени покореженных шезлонга (кривые сиденья, спинки заклинило под странными углами, один подлокотник сломан). Рядом примостился чумазый холодильник, а на веревках для сушки белья качается гирлянда китайских фонариков, превращая крышу в захудалый, открытый ветрам оазис.

Здесь тихо. Не абсолютная тишина – ее Адди пока не отыскала в этом городе и начала считать, что та исчезла вместе с остатками старого мира, – но такое же спокойствие, как везде в этой части Манхэттена. И не та тишина, что душила Адди в доме Джеймса, – гулкое безмолвие пространства, чересчур большого для одного человека. Эта тишина – живая, полная отголосков, сигналов машин и гудящих, как статическое электричество, стереобасов.

Крыша обнесена невысокой кирпичной стеной, Адди ложится на нее животом, опирается на локти и смотрит вдаль, пока не забывает, где находится. Теперь она видит перед собой лишь огни Манхэттена, рисующие узоры на бескрайнем беззвездном небе.

Адди скучает по звездам.

Однажды, в 1965 году, она познакомилась с парнем. Когда Адди сказала ему, что ей хочется увидеть звезды, он увез ее на час езды за пределы Лос-Аджелеса, просто чтобы она могла на них насмотреться. Уже стемнело, он остановил машину и показал наверх. Его лицо светилось от гордости. Адди задрала голову и увидела жалкую подачку – пригоршню огоньков в небе, и что-то на нее нахлынуло. Безмерная грусть, которая сродни потере. Впервые за сотню лет она затосковала по Вийону. По дому. По месту, где звезды светили так ярко, что образовывали небесный поток, реку серебра, озаряя тьму лиловым мерцанием.

Она поднимает взгляд вверх крыш и гадает, наблюдает ли за ней мрак после всех этих лет? Пусть прошли годы, пусть он как-то сказал ей, что не следит за жизнью каждого, ведь мир огромен и полон душ. Мол, он слишком занят, чтобы думать о ней.

Позади с грохотом открывается дверь, и на крышу высыпает горстка людей.

Два парня, две девушки.

И Сэм...

Ее тело в светло-серых джинсах и белом свитере словно длинный и яркий мазок кисти на фоне темной крыши. Волосы стали длиннее, они завязаны в неряшливый пучок, откуда выбилось несколько светлых локонов. Рукава свитера закатаны, и на предплечьях краснеют полоски краски. Адди задумывается – почти рассеянно, – над чем она сейчас работает...

Сэм – художница. В основном абстракционистка. Ее квартира, и без того небольшая, заставлена холстами, прислоненными к стенам. Имя – звонкое и лаконичное. Полным – Саманта – она подписывает только готовые работы или когда чертит его вдоль чьего-то позвоночника посреди ночи.

Все, кроме Сэм, с шумом разбредаются по крыше. Один из парней что-то рассказывает, но Сэм отстает на шаг и запрокидывает голову, наслаждаясь ночной прохладой. Адди пытается отвести взгляд, найти что-то другое, на что можно уставиться, якорь, чтобы противостоять притяжению этой девушки.

И, разумеется, находит.

«Одиссею».

Адди почти утыкается в книгу, когда Сэм отводит взгляд от неба. Ее голубые глаза встречаются с глазами Адди. Художница улыбается... и на мгновение снова наступает август, они

сидят за пивом на террасе бара и смеются. Стоит настоящее пекло. Адди убирает волосы с шеи, чтобы охладиться, а Сэм наклоняется и дует ей на кожу.

А вот сентябрь, они лежат в разворошенной постели, сплетясь пальцами и запутавшись в простынях. Рот Адди скользит по жару между ног Сэм.

Вдруг художница отходит от своих друзей и как бы случайно направляется к Адди. Сердце у той екает в груди.

– Извини, что побеспокоили...

– Ничего страшного, – говорит Адди, косясь в сторону, будто рассматривает город.

С Сэм она всегда чувствует себя подсолнухом, бессознательно нацеленным на чужой свет.

– Обычно все смотрят вниз, – замечает Сэм. – Здорово, что есть те, кто смотрят наверх.

Время замирает. То же самое Сэм сказала, в первый раз увидев Адди. И в шестой, и в десятый. Но это не просто попытка завязать разговор. У Сэм взгляд художника – настоящий, ищущий. Тот, что изучает предмет и видит в нем больше, чем просто форму.

Адди отворачивается, думая, что вот-вот раздастся звук удаляющихся шагов, но вместо этого слышит щелчок зажигалки. Сэм встает рядом, краем глаза Адди видит ее белоснежные локоны. И тогда сдается.

– Украду одну? – спрашивает она, кивая на сигареты.

– Конечно, – улыбается Сэм, – держи.

Она достает сигарету из пачки и передает Адди вместе с неоновой-синей зажигалкой.

Адди засовывает сигарету в рот и крутит колесико. К счастью, у нее есть оправдание: поднимается легкий ветерок, и пламя гаснет.

Гаснет, гаснет, гаснет...

– Сейчас... – Сэм придвигается ближе, задевая Адди плечом, и загораживает ее от ветра.

Сэм пахнет шоколадным печеньем – его печет сосед всякий раз, когда нервничает; лавандовым мылом – им она оттирает краску с рук; кокосовым кондиционером, который наносит на волосы на ночь.

Адди не любит вкус табака, но от дыма теплеет в груди, а сигарета дает возможность занять руки, сосредоточиться на чем-то помимо Сэм.

Они так близко, что смешивается пар от их дыхания. Сэм вдруг протягивает руку и касается веснушки на правой щеке Адди. То же самое она сделала в их первую встречу, такой простой и такой интимный жест...

– У тебя здесь звезды, – говорит Сэм, и у Адди в груди снова что-то сжимается.

Déjà vu. Déjà su. Déjà vescu.

Она борется с желанием преодолеть разделяющее их расстояние, погладить длинную шею Сэм ладонью и опустить ее на затылок, куда – Адди точно знает – она так удобно ложится. Они стоят молча, выпуская облачка бледного дыма, а остальные четверо смеются и кричат им в спины, а потом кто-то из парней – Аарон или Эрик – зовет Сэм. И она уходит, ускользает обратно. Адди хочется схватить ее, а не отпустить – снова.

Но она отпускает.

Прислоняется к невысокой кирпичной стене и слушает чужую болтовню о жизни, о взрослении, о списках предсмертных желаний и неверных решениях. Наконец одна из девушек говорит: «Черт, мы же опаздываем». И все – пиво допито, сигареты потушены, и стайка молодежи спешит к выходу, отступая, подобно приливной волне.

Сэм покидает крышу последней.

Она замедляет шаг и оборачивается, напоследок улыбаясь Адди, и только потом ныряет в проем двери. Еще можно поймать ее, побежать, остановить закрывающуюся створку... Но Адди не двигается с места.

Раздается металлический грохот.

Адди прижимается к стене.

Кануть в забвение – это все равно что сойти с ума. Начинаешь сомневаться, где же реальность, существуешь ли ты на самом деле. Ведь как может что-то быть реальным, если его нельзя вспомнить? Это словно буддистская загадка о дереве, упавшем в лесу. Если никто не слышал звук его падения, упало ли оно на самом деле?

Если человек неспособен оставить след, существует ли он вообще?

Адди тушит сигарету о кирпичный выступ, поворачивается спиной к горизонту и направляется к сломанным креслам и зажатому между ними холодильнику. Осталась всего одна бутылка, которая плавает среди полурастаявшего льда. Адди откручивает крышку и усаживается на самый уцелевший шезлонг.

Ночь выдалась не такая уж холодная, а она слишком устала и не в силах отправляться на поиски другого ночлега.

Китайские фонарики светят достаточно ярко, Адди растягивается в кресле, открывает «Одиссею» и начинает читать об удивительных странах, чудовищах и героях, которым не суждено вернуться домой, а потом холод наконец ее убаюкивает.

III

9 августа 1714

Париж, Франция

Париж окутывает жара. Август и без того душный, но еще тяжелее дышать из-за разрастающихся построек, вони гниющей пищи и человеческих отходов огромного количества горожан, живущих друг у друга на головах.

Через сто пятьдесят лет барон Осман изменит облик города, спроектирует дома с одинаковыми фасадами и выкрасит их в единый бледно-палевый цвет, создав образчик вкуса, лаконичности и красоты.

Тот самый Париж, о котором мечтала Адди, и, несомненно, она увидит его своими глазами.

Но пока что бедняки в отрепьях вынуждены жить в тесноте, а разодетые в шелка дворяне тем временем прогуливаются по садам. На улицах полно запряженных лошадьми повозок, на площадях толпится народ, кое-где среди полотна города торчат шпили. Богатство выставлено напоказ на широких проспектах, вздымается высокими крышами дворцов и поместий, а в закоулках ютятся лачуги, и камни мостовых черны от грязи и дыма.

Но Адди настолько ошеломлена, что всего этого не замечает.

Она обходит площадь по краю, глядя, как торговцы разбирают рыночные прилавки и пинают оборванных ребятишек, которые шныряют повсюду в поисках объедков. Адди сует руку в карман и рядом с деревянной птичкой нащупывает четыре медяка, найденные в украденном пальто. Всего четыре – чтобы выжить.

Уже темнеет и собирается дождь, а нужно еще подыскать место для сна. Задача вроде бы несложная – комнаты внаем, похоже, сдаются на каждой улице. Но едва она успевает переступить порог первой ночлежки, как ее разворачивают.

– Здесь тебе не бордель, – ворчит хозяин, надменно глядя на Адди.

– А я не шлюха! – возражает она, но тот презрительно фыркает и шелкает пальцами, словно избавляясь от мусора.

В следующем доме нет мест, в третьем слишком дорого, четвертый предназначен только для мужчин. К тому времени, как Адди переступает порог пятого, солнце село, а вместе с ним исчез и ее боевой дух. Она уже готова выслушать очередную отповедь, объясняющую, почему ей нельзя остаться под крышей, однако Адди не прогоняют.

У входа ее встречает хозяйка в годах, тощая и чопорная, с длинным носом и ястребиным взглядом. Она пристально осматривает посетительницу и ведет в вестибюль. Комнатушки крошечные и грязные, но в них есть стены и двери, окно и кровать.

– Плата за неделю вперед! – требует хозяйка.

У Адди замирает сердце. Неделя невозможно длинна, когда воспоминания о тебе длятся миг, час, день...

– Ну так что? – сердится старуха.

Адди сжимает деньги в кулаке. Она осторожно достает три медяка, и хозяйка выхватывает их из протянутой ладони, точно ворона, стащившая кусок хлеба. Монеты исчезают в мешочке, привязанном у нее на талии.

– Не напишете ли мне расписку, – просит Адди, – в доказательство, что я заплатила?

Женщина почти оскорбленно хмурится:

– Я честно веду дела!

– Спору нет, – бормочет Адди. – Но комнат много, легко позабыть о постояльце...

– Тридцать четыре года я управляю этим гостиным домом, – отрезает хозяйка, – и ни разу никого не забыла!

«Жестокая шутка», – думает Адди, а старуха уже поворачивается и удаляется, оставив ее в комнате одну.

Адди заплатила за неделю, но повезет, если удастся продержаться хоть ночь. Утром ее выселят, мадам станет на три монеты богаче, а Адди окажется на улице.

В замке торчит маленький бронзовый ключ, и Адди с наслаждением его поворачивает. Раздается звонкий щелчок, словно камень плюхается в ручей. Вещей у нее нет, раскладывать нечего и переодеться не во что. Адди сбрасывает дорожное пальто, выуживает из кармана деревянную птичку и ставит на подоконник. Талисман, изгоняющий тьму.

Она выглядывает в окно, мечтая увидеть величественные парижские крыши и ослепительные здания, высокие шпили или хотя бы Сену, но Адди забрела слишком далеко от реки. Небольшое окошко выходит лишь на узкий переулок и каменную стену дома – похожего на любой другой дом в любом другом городе.

Отец рассказывал Адди множество прекрасных историй о Париже. По его словам вышло, что столица полна блеска и золота, магии и сновидений, которые только и ждут воплотиться в жизнь. Теперь она гадает – видел ли вообще отец Париж, или тот был для него просто громким именем, удачным фоном для принцев и рыцарей, приключений и королей. Все они слились в ее сознании воедино, став не картиной, а палитрой, тоном. Возможно, город был не таким великолепным. Может, это просто игра теней и света.

Ночь выдалась серая и влажная, тихая морось дождя заглушает выкрики торговцев и стук повозок. Адди сворачивается клубком на узкой кровати и пытается уснуть.

Она думала, у нее есть хотя бы ночь, но лишь только прекращается дождь и на город спускается тьма, как старуха стучит в дверь, в замок вонзается ключ, и в крошечной комнате поднимается суета. Адди грубо вытаскивают из кровати. Слуга хватает ее за руку, а хозяйка издевательски спрашивает:

– Кто же это тебя сюда впустил?!

Адди изо всех сил пытается стряхнуть остатки сна.

– Вы! – восклицает она, жалея, что старуха не удосужилась проглотить гордость и дать расписку.

У Адди есть лишь ключ, но показать его она не успевает: костлявой рукой хозяйка отвечает ей тяжелой оплеуху.

– Не ври, мерзавка, – оскальчивается старуха. – Здесь тебе не богадельня!

– Но я заплатила, – оправдывается Адди, прикрывая ладонью щеку. Однако все бесполезно. Три монеты в кошельке старухи – не доказательство. – Вы сами мне рассказали, что управляете этим заведением тридцать четыре года...

На какой-то миг на лице хозяйки мелькает неуверенность. Слишком мимолетно, слишком скоротечно. Когда-нибудь Адди научится выпытывать секреты, детали, известные лишь друзьям и близким, но и это не гарантирует ей безопасность. Ее будут звать мошенницей, ведьмой, нечистым духом, сумасшедшей. Выбрасывать вон под десятком предлогов, хотя на самом деле причина лишь одна.

Они не помнят.

– Убирайся, – приказывает старуха.

Адди едва успевает схватить пальто, как ее вышвыривают за дверь. Мигом позже она вспоминает, что на подоконнике осталась деревянная птичка, и пытается вырваться, вернуться за ней, но слуга держит крепко.

Дрожащую от ужаса девушку выталкивают за порог. Единственное утешение – перед тем, как захлопнуть дверь, хозяйка бросает вслед Адди и ее деревянный талисман. Тот приземляется на мостовую, и от удара трескается крыло.

На сей раз трещина не затягивается сама по себе. Старуха исчезает в доме, а рядом с фигуркой выпавшим пером остается лежать отколовшаяся щепка. Адди сдерживает жуткий

смех, но ей не смешно, ее пугает безумие произошедшего. Нелепый и вместе с тем неизбежный итог ночи.

Уже слишком поздно, или, может, слишком рано, город затих, небо затянуто серыми дождевыми облаками, но Адди знает: мрак приглядывает за ней.

Она хватается птичку, прячет ее в карман, где лежит последняя монета, и встает на ноги. Ей ябко, она кутается в пальто, подол юбок насквозь промок.

Измученная Адди бредет по узкой улочке. Наконец отыскав убежище под деревянным навесом, она прячется в щель между каменными зданиями, чтобы дожидаться рассвета.

Адди забывается лихорадочным полусном, чувствуя на лбу ладонь матери, переливы ее голоса, напевающего колыбельную. Материнскую руку, что поправляет на плечах Адди одеяло. Наверное, она заболела. Только в дни болезни мать обращалась с ней ласково. Адди не хочет просыпаться, упрямо цепляясь за воспоминание, даже когда шумный топот копыт и громыханье колес заглушают мелодию, вырывая Адди из тумана сновидения.

Юбки, все в пятнах и измятые от короткого беспокойного сна, стоят колом от грязи. Дождь перестал, но город такой же чумазый, как и в день ее приезда. На родине хорошая буря отмывала деревеньку, и та блестела как новенькая. А вот копоть парижских улиц, кажется, не уничтожить ничем. Дождь сделал только хуже, мир стал мокрым и унылым, повсюду мутные коричневые лужи, полные вонючей грязи.

И вдруг сквозь мерзкую вонь пробивается манящий аромат.

Адди идет на запах и выходит к рынку. Торговля в самом разгаре: нахваливают товар лавочники, пищат цыплята, пока их тащат из повозок к прилавкам.

Адди умирает от голода, она даже не помнит, когда последний раз ела. Платье ей мало, но оно никогда и не было впору – Адди украла его пару дней назад с бельевого веревки где-то под Парижем, устав от свадебного наряда. И, несмотря на голодные дни, свободнее сидеть платье не стало. Должно быть, ей и есть-то не нужно, от голода Адди не умрет, но сладить с резью в желудке и трясущимися ногами невозможно.

Она разглядывает оживленную площадь, поглаживая последнюю монету. Не хочется ее тратить. Но, может быть, и не нужно: в такой огромной толпе легко что-то украсть. По крайней мере, так считает Адди, но парижские торговцы столь же проворны, как и воры. Они крепко держат свое, и Адди выяснит это на собственной шкуре. Пройдут недели, прежде чем она сумеет стащить яблоко, а воровать незаметно научится гораздо позже.

Неловкая попытка украсть зерновой хлебец с прилавка пекаря оборачивается поимкой: мясистая лапа хватается ее за запястье.

– Воровка!

Мельком заметив пробивающихся сквозь толпу солдат, Адди стынет от ужаса – ее запрут в камере или в клетке!

Она все еще девушка из плоти и крови и пока не научилась взламывать замки или очаровывать мужчин, чтобы освободиться от оков так же легко, как ее лицо ускользает у них из памяти. Поэтому Адди торопливо принимается умолять пекаря взять ее последнюю монету. Тот вырывает деньги у нее из рук, отмахивается от солдат и прячет медяк в кошеле. Для булочки слишком дорого, но сдачи Адди не получает. Пекарь говорит, мол, это плата за воровство.

– Радуйся, что пальцы уцелели, – рявкает он, отталкивая ее с пути.

Так Адди остается с жалкой булочкой и сломанной птичкой. Больше у нее ничего нет.

Она поспешно покидает рынок и замедляет шаг только на берегу Сены. И там, не переведя дух, впивается в булочку. Адди старается растянуть лакомство, но хлеб исчезает мгновенно, будто капля воды в пустом колодце, а голод совершенно не утолен.

Адди вспоминает Эстель.

В прошлом году у старушки стало звенеть в ушах, днем и ночью изводил ее этот звук. Адди однажды полюбопытствовала, как она выносит постоянный шум, а Эстель ответила: «Со временем ко всему привыкаешь».

Но вряд ли можно свыкнуться с голодом.

Она разглядывает лодчонки, плывущие по реке, собор, вздымающийся из завесы тумана, – проблески прекрасного, что сияют точно драгоценности на фоне грязных городских кварталов, слишком далеких и однообразных, почти неразличимых.

Адди стоит, не двигаясь с места, пока не понимает, чего же ждет. Она ждет помощи. Кого-то, кто придет и разберется во всем этом сумасшествии. Но никто не приходит, никто о ней не вспоминает. Если она продолжит ждать, то простоит здесь вечность.

И Адди пускается в путь и по пути изучает Париж. Запоминает этот дом, ту дорогу, мосты, повозки и ворота в парк. За стенами проглядывает красота, просвечивает сквозь щелочки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.